EH1633
A 258 P

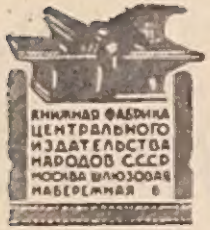
М. АДАМОВИЧ
(К. АРЛ.)

НА ЧЕРНОМ МОРЕ

(ОЧЕРКИ ПРОШЛОЙ БОРЬБЫ)

ИЗД-ВО - ПОЛИТКАТОРЖАН - МОСКВА

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
2009



Главлит № А 12017
Тираж 7.000 экз.

Заказ № 1016

ЕН1633
А258Р
174891.

I

В ПОИСКАХ ПУТИ.

Проехать в Одессу железной дорогой из Новороссийска через Тихорецкую и Ростов в январе 1906 года было не просто, особенно имея с собой оружие. Ростов отозвался на декабрьское восстание в Москве уличной перестрелкой с казаками, Тихорецкая дала ему на подмогу рабочих — дружинников, а Новороссийск устроил у себя «Республику». В январе чашка весов уже склонилась в пользу контр-революции, и на узловых станциях поезда обшаривались военными заставами, вылавливавшими всех подозрительных. Тем не менее мне посчастливилось благополучно проскользнуть. В Одессе я застал военное положение, и по углам городовые стояли не с револьверами на шнуре у пояса, как обычно, а с винтовками за плечами. По ночам то и дело слышалась разнокалиберная стрельба. Сидишь иной раз в комнате за столом с раскрытой книгой, — на столе браунинги, по домашнему, в носовом развязанном платочке, смазанные сальцем, кучкой патроны и дверь на запоре — и слушаешь музыку внезапной перестрелки. И настороженное ухо легко разбирает, где ухает с раскатом берданка, где гулко и с каким-то оттенком стального упорства выпускает подряд

свои пули трехлинейная винтовка, когда щелкает хлопушка-браунинг, или осмотрительно и хладнокровно бьет — и чувствуется, что бьет с прицелом—наган. И по ходу стрельбы, по ее началу, смене звуков и всему течению пальбы стараешься определить в чем собственно дело: происходит ли нападение, или защита, сделан ли экспроприаторский налет, нарвавшийся на отпор и погоню, или вытребовано военное подкрепление и ведется правильная осада засевших террористов, или, наконец, так, мимоходом, убили полицейского на посту парой выстрелов. А утром по газетам проверяешь свои ночные наблюдения по слуху и, перечитывая детали событий, устанавливаешь, где ты верно по стрельбе уловил смысл событий, а где был сбит с верного пути и чем именно. Вечером же, поблагодарив судьбу за благополучно прошедший день, снова запирал я дверь на ключ и клал весь боевой припас на стол, раздумывая, не мой ли сегодня черед давать неведомому товарищу — как и я сидящему и ждущему визита, — случай решать, прислушиваясь к перепалке, вопрос: на упорного парня, или не очень упорного налетела царская полиция и один ли этот парень задает короткий бал с танцами, прыганьем по чердакам, крышам и т. д., или целая компания таких непокладистых ребят влетела в смертельную кашу.

Но прошли эти дни и недели напряженного, но спокойно-решительного ожидания вооруженной схватки в одиночку, когда человек чувствует, что он решился и живым в руки не дастся. Переменив паспорт и квартиру, почувствовал я себя больше жильцом на этом свете, чем кандидатом на тот свет, и стал поэтому внимательнее вникать в земные, местные одесские дела. К тому времени подошли всякие справки, письма, документы и прочее, что полагается для прохождения партийных

формальностей человеку, явившемуся без всяких писем или рекомендаций из другого места. В конце-концов, пришел день, когда общегородской организатор одесского Комитета РСДРП спросил меня, в какой район я хочу пойти на работу и, обрисовав вкратце характер каждого района и его состояние, прибавил, что хорошо было бы мне пойти в портовый район, так как там большая нужда в подходящем работнике, который мог бы «сговориться с портовой массой».

— В городской район вас, товарищ, посылать нет смысла, — говорил он, — этот район почти сплошь состоит из еврейской ремесленной и полуремесленной массы. Наши одесские «Моньки из городского района» — ребята смышленые и им довольно дать такого же «Моньку», только побольше знающего. А вот порт, это — дело серьезное. Там моряки, там грузчики, элемент наполовину цеховой, наполовину босяцкий и политической работой мало затронутый. И, признаться, мы даже не знаем, как к нему подступить. Есть там несколько хороших ребят, послали туда хорошего агитатора-пропагандиста, прекраснейшего оратора, а его чуть не избили на одной из первых же массовок. А нам пишут, что вы очень хорошо с грузчиками в Новороссийске управлялись.

Ясно, что при таком подходе от портового района не откажешься, да и мысли не было отказываться: не сидеть же в кружке с десятком «Монек», когда под ногами внизу расстилается огромный порт с нетронутой политически и многообещающей массовой целиной. Птому я был направлен к ответственному организатору портового района.

Ответственным организатором оказался типичный «вечный студент» — грузин Миша Мдивани, в потертой студенческой фуражке, с поблекшими зелеными петлицами на вороте тужурки. Он при-

нял меня весьма радостно, так как был уже осведомлен насчет того, что с новороссийскими грузчиками я ладил, и еще раз посвятил меня в трудности работы района.

— Чисто партийную конспиративную работу вести можно, — говорил он горячо, с акцентом,— есть некоторый элемент для партийной работы, но масса не затронута совершенно. А не затронувши массу, нельзя вести и партийной работы, — не хотят слушать. Мы, говорят, и по книжке прочитать можем то, что вы говорите, а нам дайте что-нибудь живое, чтобы зацепиться можно было... Послушайте, товарищ Карл, у вас есть опыт с этой массой, за что бы это нам зацепиться, чтобы потом они за нас зацепились?

Я рассмеялся, сказал, что мой опыт очень маленький, измеряется всего парой-другой недель, но я убежден, что зацепку найти можно, только за столом ее не выдумаешь и ничего о ней не скажешь, пока не понюхаешь порт, как следует.

— Ну, понюхайте и постарайтесь найти, только не так нюхайте, как наш товарищ Никита, которому пришлось бы плохо, если бы свои ребята кой-как не выручили. Знаете, я думаю, что это просто черносотенная масса, и там надо быть очень осторожным.

Расстались на решении, что я буду «нюхать» в порту.

Спускаясь ниже по портовым партийным инстанциям, я после ответственного организатора перешел к пропагандисту-агитатору района, товарищу Никите. Никита был, как мне неоднократно уже приходилось слышать, выдающийся оратор, настоящий златоуст, пользовавшийся громадным успехом среди заводских рабочих в тех местах, где ему случалось работать, в том числе и в Одессе, куда он прибыл, кажется, из Сормова. Поэтому

его «осечка» в порту представлялась среди партийных работников весьма показательной для трудностей работы среди «портовых босяков», как выражались иные. А некоторые вообще даже высказывались, что на этот «люмпен-пролетариат» нужно махнуть рукой в виду его безнадежности. Самого Никиту я нашел в его маленькой комнатке за чтением Ибсена.Он был несколько смущен своей неудачей, которая и для него, повидимому, была довольно неожиданной. Он не высказывался столь пессимистично, как другие, на счет порта, но выразился в том смысле, что публика какая-то мудреная, — нельзя рассчитывать: все, кажется, идет хорошо, слушают, как-будто одобряют, и вдруг, как вз'ерепенятся, «точно кто-нибудь их жигалом прижег». Из дальнейшей беседы я выяснил, что Никите в порту не повезло в тот самый момент, когда он со всем красноречием развернул тему «долой самодержавие», давши аудитории слишком концентрированный настой чистой политики, когда она совсем не была готова глотать эту микстуру, а, наоборот, собралась обстоятельно побаловать себя детально жалостным разговором на счет своего положения и совместно поискать из него выхода, будучи твердо уверенной, что такие выходы на путях чистой экономики имеются, в особенности, если их не портить «к делу касания не имеющими» политическими разговорами.

Теперь уже Никита сам видел, что он слишком рано и слишком резко рванул политическую струну и вызвал у аудитории резкую реакцию. Ошибка, конечно, вообще поправимая, но уже репутация у работника испорчена в глазах массы и сразу после такого казуса к той же самой массе подступа ему нет. Поэтому, несмотря на все свои достоинства, как работника, Никита в тот момент должен был считаться выбывшим из строя. Пре-

дупреждая меня не делать такого же промаха и подходить осторожней, Никита сказал мне, между прочим, чтобы я обратил внимание на вопрос о «Регистрации», который сейчас, по его впечатлению, самый волнующий среди моряков.

Здесь впервые я услышал это своеобразное и в истории всего российского профессионального движения неповторяемое слово, которое на ряд лет стало боевым знаменем Черноморских моряков торгового флота и стоит в истории их движения, как заглавная большая буква первой главы первой страницы.

Пройдя, таким образом через руки передаточных, вводящих, поясняющих, напуствующих и предостерегающих инстанций, я, наконец, добрался до самой загадочной и заманчивой портовой «массы», с которой так трудно, по всем предварительным справкам, предстояло работать. Соприкоснулся я, прежде всего, разумеется, с лучшими передовыми, наиболее сознательными, представителями этой массы, которые в свою очередь уже так или иначе соприкоснулись с тлетворной заразой политических течений и заболели столь трудно искоренимой болезнью — неудовлетворенностью чисто личного бытия, связанной с неутомимой жаждой общественного действия. Однажды под вечер меня свели с одним из таких «соблазненных малых сих», истинным представителем «массы». «Истинным» он был в том смысле, что он действительно не только книжки читал, но и на самом деле в своей жизни таскал мешки, управлял парусами, ворочал рулевое колесо и в ответ на повелительный оклик с капитанского мостика: «вахтенный!» кричал немедленно громкое «есть!». Не загадка, стало быть, что это был моряк. Конечно, для стиля, и так сказать по «долгу службы», моряк этот должен был бы быть приземистый,

коренастый, грудастый, с раскоряченной несколько походкой, с бронзовым загаром открытой шеи, мускулистый молодец — ну, такой, каким мы знаем его по всем книжным и не книжным описаниям и какого действительно можно встретить на каждом шагу на шумных улицах любого портового города в мире. Как нарочно, этот первый моряк, доставшийся мне на моем пути к работе в порту, был совсем не похож на описанную сейчас фигуру патентованного морского волка. Это был Александр — длинный, худощавый, белокурый юноша лет двадцати, с журавлиными ногами и в высшей степени интеллигентным лицом, перед которым пасовал на этот счет даже патентованно-интеллигентский облик иного человека, варившегося восемь лет в соку гимназических классиков древности и штатной университетской премудрости.

Александр выслушал мое сжатое изложение того, как себе представляют положение там, «наверху», в партийных кругах и сказал, что «комитетчики» сильно преувеличивают, но что в порт конечно нужен подходящий человек, чтобы «люди его понимали».

— Да разве Никита такой оратор, что его нельзя понять? — удивился я.

— Никита очень хороший оратор, — чуть улыбнулся представитель «голоса массы», — говорит он прекрасно и очень понятно, хороший оратор, слишком даже хороший, беда в том, что он именно оратор и это сразу чувствуется. А у нас публика не любит, чтобы ее просто агитировали. Народ самолюбивый. После выступления товарища Никиты даже наиболее развитые говорили: «Что же он нас, как слепых щенков, за шиворот берет и носом в политику тычет. Учитель какой на-

шелся! Пусть говорит о деле, его все с удовольствием слушать будут».

— А политика, значит, не дело? — спросил я.

— Политика, конечно, дело, но далеко не для всех еще. А главное, за хвост ее сразу тянуть не надо. Надо так, чтобы не сразу видно было. Нужно сначала чем-нибудь своим, близким задеть массу, чтобы она рот раскрыла, а потом сунуть ей и политику с какой-нибудь приправой, пусть жует, когда разжует, то проглотит и спасибо скажет. А если сразу, так выплюнет, обругает, и при случае и побить может.

— Ну, а что подразумевали ваши товарищи, когда заявляли, что пусть, мол, «о деле говорит, тогда все будут слушать»?

— Да, знаете, у каждого есть свои повседневные нужды и болячки, от которых хочется избавиться. Вот это и кажется им настоящим делом. Сами между собой о них все время говорят, и если кто-нибудь станет эти вопросы обсуждать, то будут с утра до вечера сидеть и слушать и обедать не пойдут... если даже у кого и есть на обед. Да вот я вас сведу в нашу коммуну, вы сами увидите.

На том мы и расстались.

— Ну, как наш «моряк» вам понравился? — спрашивали меня вечером «комитетчики».

— Ничего парень, хоть и молодой, но толковый, на него положиться можно, — ответил я.

— Ну что, как вам понравился новый товарищ? — спрашивали те же комитетчики на другой день у Александра.

— Ничего, кажется столкуемся. В нем что-то босяцкое есть, такое размашистое, для порта это очень годится, — ответил моряк.

«Коммуна», в которую меня привел Александр и к составу которой принадлежал и он сам, представляла собою человек пять или шесть моряков,

живущих кучкой в небольшой комнатке, занимаемой у какой-то настоящей или соломенной вдовицы-морячки. Дом расположен был как-то причудливо на полусклоне одного из спусков города в порт и попадать в него можно было и сверху— с улицы города, пройдя какие-то ступеньки, лесенки и закоулки, и снизу—из порта, поднявшись тоже по таким же приступочкам, лесенкам и закоулочкам.

— Если удирать — замечательное место для того, кто знает, — говорил мне Александр, показывая дорогу, — сверху нырнешь, снизу вынырнешь и поминай как звали. Пока полиция разберет в чем дело, уже и след простыл.

Такой ход мысли по тем временам был совершенно естественным, и я тщательно старался запомнить все изгибы и повороты пути на всякий случай.

Коммуна при нашем входе была вся уже в сборе и даже с излишком. Кроме постоянных жильцов ее, были приглашены гости из соседних подобных же коммун. По возрасту это все был «молодняк» и «середняк» от 22-х до 28—30 лет, в «голланках» с синими воротниками, «куртиках», некоторые в черных, суконных бушлатах с блестящими пуговицами. Обстановкой коммуна похвастаться не могла: стояла одна лишь кровать, на почти голых досках которой полулежало в тот момет четыре довольно-таки дюжих хлопца, стол небольшой для еды с зияющим отверстием вместо выдвижного ящика и наискось прибитыми между ножками планками для устойчивости, и два совершенно ненадежных стула, о чем я был немедленно предупрежден при первой же попытке использовать их по назначению. Вот и все. В качестве подсобной мебели, и при том вполне надежной, служили пол и стены. Большинство присутствующих сидело,

лежало, полусидело, полулежало на полу, опершись о стенки, охватив колени руками или облокотившись один о другого. Когда мы явились и поздоровались, Александр представил меня, сказал, что вот мол «товарищ Карл от комитета хотел бы поговорить и сказать несколько слов», и поспешно нырнул в сторону, предоставив меня своей судьбе и инициативе. На это со сдержанной приветливостью сказали «спасибо» и «рады послушать»; лежавшие из приличия поднялись и заняли сидячее положение, какого-то лентяя тут же подбодрили пинком в бок, сказавши: «да поднимись же, человек говорить будет, а ты как боров разлегся», — на что тот, подбирая ноги и умащиваясь, резонно ответил: «я же не на ухах лежу, а на боку». Но в общем все быстро пришло в порядок, публика расселась в аудиторном порядке, почти в кружок около стола, меня посадили на стол и выжидательно уставились. Я раздумчиво смотрел в пол, покачивал ногою и размышлял, как бы это мне начать речь и не «сникитить». Я уже раскрыл было рот, чтобы сказать обычное «товарищи» и начать «чесать дальше», обвел последним взглядом слушателей, и тут мне бросилась в голову странность: день будний, не праздник, время — около часу дня, разгар работ, а предо мной почти полтора десятка здоровых людей в совершенно неторопливых позах расположились, точно буржуазные курортные гости на пляже, не спеша послушать. Конечно, лестно было думать, что люди так «интересуются» и готовы даже пожертвовать рабочим временем, но было что-то сомнительно. И, поддаваясь внезапному импульсу, вместо того, чтобы начать свою речь, я вдруг спросил неожиданно и для них и для себя.:

— А вы, собственно, чем занимаетесь, товарищи?

Я не был понят ложно и смысл вопроса, очевидно,

был написан у меня на лице, потому что немедленно же несколько голосов откликнулось дружно и по существу.

— Декохт держим, товарищ!

Относительно «декохта» я знал в детстве, что это какая-то довольно скверного вкуса настойка, употребляемая матерями, не искушенными в медицине и не верящими докторам, против всевозможных болезней своей детворы, при чем полагалось выпить этой гадости что то чуть ли не получетверть и быть в это время весьма воздержанным в пище.

— А в переводе, что же этот ваш «декохт» значит? — попросил я об'яснений.

— В переводе — это значит, что мы все без службы и располагаем большим количеством свободного времени.

— Как же вы живете?

— А вот коммуна и выручает. Стреляем в порту за случайной работой. День найдем, а два нет. Один найдет, а четверо обедают. Ну и перекручиваемся... теперь уже легче — дело к весне идет. Навигация близко. Зимою вот туговато было.

— Ну, а сегодня, как с обедом? — перешел я к текущему моменту.

Смущенное молчание в ответ, пожимание и покряхтывание.

— Эге... голодное брюхо к политике глухо. Давайте-ка мы, товарищи, сегодняшнее собеседование начнем с колбасы и хлеба. Я тоже проголодался.

И я выгреб из кармана все запасы своих двугривенных и пятиалтынных. И в то время, как одни, более самолюбивые и щепетильные отнекивались и говорили, что это никуда не годится, что «человек пришел поговорить, а мы его об'едать будем», другие уже обсуждали, где ближе и де-

шевле чего купить можно и, нахлобучив одному фуражку на голову, наказывали ему: «духом смотаться», но к Стрептихе не итти, а то она сейчас же долг требовать будет, а забежать к Сеньке Черномордику и живо вернуться, чтобы «одна нога там, а другая тут».

Посланный, что называется, «мотнулся духом» туда и обратно и через несколько минут мы все— и церемонные, и нецеремонные, и Александр, и я расположились вокруг снеди и занялись колбасой и беседой. Побеседовать было о чем. Они меня спрашивали, какой я партии, и зачем так много партий и почему «эс-деки с эс-эрами все спорятся на собраниях, аж голова болит» и не лучше ли было бы, если бы все партии в «одно играли» и за одно действовали, а то только в народе «смущение производится». Жаловались, что все в массе недовольны этой партийной борьбой, но, оказывается, отстраниться от нее не так-то легко:

— Иной раз, как придут с собрания на пароход, как заведут... крик, гам... тот кричит — «я эс-дек!», а другой еще громче, — «я эс-ер», а третий обоих кроет — «я анархист», а четвертый всех посылает к черту и говорит, что он— беспартийный, а политикой пусть занимаются, кому делать нечего. — Прямо хоть из кубрика беги! Сменишься с вахты, отдохнуть бы или заснуть, а тут спор такой, что голова, как котелок. А спроси этого эс-дека или анархиста, что он в своей партии понимает, так оказывается ни черта не понимает, а только галдит.

— Ну, кто не понимает, а кто и понимает — отзывается другой. — Я вот с товарищем Карлом, хоть он сам еще ничего не говорил, но с его партией эс-дековской согласиться не могу. Они все об одном рабочем толкуют. Рабочий — это конечно,

ну, а с крестьянином, с деревней как? А эс-эры мне ближе, они обо всех, обо всем народе заботятся. И опять же эс-деки они все за мирные средства, а нужны меры решительные. На этот счет я больше на сторону анархистов склоняюсь. Конечно, грабежами они зря занимаются.

По вопросам, взаимным репликам, интонации голосов я увидел, что предо мною совсем не одношерстная публика, а группа, где различные политические течения уже проложили заметные борозды и провели разграничительные линии. Но, с другой стороны, это был осколок массы только всколыхнутой, только разбуженной толчками политической бури и, как судно в свежую погоду на море, нырявшей носом то вверх, то вниз по волнам, переваливаясь, то в одну, то в другую сторону, не занимая окончательного устойчивого положения. Из дальнейшей беседы выяснилось, что симпатии большинства за эс-эрами потому, что эс-эры «как то теплей, душевней», а социал-демократы «сухо подходят», но, конечно, «каждая партия свой козырь имеет», прибавляли мне в утешение, и что они во всяком случае благодарны эс-дековскому комитету за то, что он прислал работника, так как систематической работы среди моряков никто не ведет, «а люди все-таки жаждут и почва есть».

Таким образом, первая наша встреча прошла очень дружно, оживленно, в общей беседе, и совсем не носила характер обычного выступления «оратора» перед «аудиторией». Как раз, наоборот, колбаса с хлебом и непринужденное расположение ног, спин и голов сделали то, что ораторствовала по преимуществу «аудитория», а «оратор» больше слушал, примечал и расспрашивал.

— Ну, а когда же мы насчет наших дел поговорим, товарищ Карл? — говорили мне «голланки»,

и «куртики», крепко корявыми клещами пожимая при расставаньи руку, — а то мы все о партиях, да о политике, а у нас свои дела есть.

Я сказал, что рад во всякое время встретиться и где угодно. Не откладывая дело в долгий ящик, порешили сойтись через день на Ланжероне, где можно собрать больше народу, чем в маленькой комнате. А по общему мнению нужно было обязательно привлечь еще надежных ребят с пароходов.

— Пойдет дело, — ободрительно говорил Александр, провожая меня обратно по тем же ступенькам и закоулкам. — Вы нашей публике понравились. Вас приняли, как своего.

На этих словах мы и расстались, и предварительно оглянув улицу, не стоит ли где по близости шпик, выскочили из ворот и прыснули быстрыми шагами в разные стороны.

* * *

На выском берегу, на краю Одессы широко разбросился Александровский парк. Прямо под ним расположились пристани Добровольного флота, где по вечерам блистали рядами огней иллюминаторы океанских гигантов, прибывающих с Дальнего Востока и еще привозящих тысячеголовые грузы войсковых частей, возвращаемых морским путем после Русско-Японской войны. А поправее от парака, внизу, стелется на полном просторе, свободное от молов, волнорезов и пристаней, прекрасное весеннее южное море. При блеске солнца в зеленой зыби открываются почерневшие ряды толстых свай у купален и ветер гуляет то с моря на берег, то с берега в море.

Берег у самого моря невысокий, крутой, каменистый, изрытый скалами, расщелинами и маленькими пещерами. Вдоль воды тянется узкая песчаная полоса, стоят, опрокинутые кверху килем, или просто вытащенные на сухо, рыбачьи баркасы и сушатся рыболовные снасти. Наверху непрерывной зеленой каймой бегут сады дач. Это рамки и пейзаж Ланжерона.

Что такое Ланжерон? — Два разных мира пользовались его простором и берегами. Для обывательской буржуазной Одессы это было излюбленное место гулянья, куда направлялись и большими компаниями, и парочками, и в одиночку «провести время» — побродить, погулять, покататься на лодках, покупаться, устроить пикник. Для революционных подпольных организаций и для передового слоя рабочих это была обширная арена работы, деловых встреч, явок, массовок, кружков, собеседований, небольших летучих митингов и всех других видов конспиративного общения. Неоценимое удобство Ланжерона заключалось в том, что мир обывательский, развлекающийся, полностью маскировал мир работающий, революционный. И так крепко засел в сознании всего города, в том числе и всех власть имущих, Ланжерон, как место гуляний, что очень не скоро спохватились они и стали посылать усиленные наряды полиции и агентов охранки для наблюдения. В то время, как я собрался впервые отправиться на Ланжерон, была еще ранняя, совсем ранняя весна. Обыватель еще поеживался от вечернего холодка и на Ланжерон не спускался, и владела этим местом сплошь наша подпольщина. С шести часов, после окончания работ, уже можно было видеть группки и кучки, то здесь, то там расположившиеся и ведущие мирно беседу. Привычный глаз сразу отмечал, кто где работает — вон грузчики расселись, там «геновцев»[1] кто-то обрабатывает, здесь печатники что-то дебатируют и т. д., и т. д.

[1] Рабочие завода Гена.

1016—2

Библиотека
Института Ленина

Неудобство моего положения было в том, что мое штатское платье среди моряцких «форменок» сразу делало всю нашу группу подозрительной. Моряки со штатскими дружбу не водили и поэтому достаточно было бы увидеть кому-нибудь кучку моряков в безкозырках или в фуражках с кантами и среди них одинокую шляпу, чтобы сразу подписать под этой картинкой: «агитатор агитирует моряков». И достаточно было самому завалящему и глупому шпионишке увидеть такую картину, чтобы вся компания провалилась, чего никому не хотелось. Эту сторону учли мои провожатые и, заведя меня предварительно в коммуну, принялись превращать в молодцеватого матроса. И вышел матрос хоть куда — черные брюки клеш с раструбом книзу, тельник, голландка с синим воротом, необразованными сухопутными именуемая «матроской», и вдобавок ко всему — ленты круглой флотской безкозырки небрежно упали на плечи. Одевши меня, повернули туда и сюда, и сказав: «хорош, прямо хоть в боцмана» — вывели другим ходом на улицу.

На Ланжероне наша небольшая кучка расположилась на бережку. Близко внизу под ногами подкатывались и разбивались волны, а мы сидели тесным кружком и, неторопливо поглядывая на море, поковыривая щепочкой камешки и покусывая мундштуки папирос, разбирали положение. На этот раз слово принадлежало, главным образом, товарищам с пароходов. Их было несколько.

— Нашу публику есть чем взять — говорили они — и передовики найдутся, за которыми масса пойдет. Только этим передовикам нужно еще самого переднего передовика дать, но такого, чтобы ему верили все — и передовики и остальные. Главное дело, человек нужен, чтобы твердой рукой повел дело.

Я весьма туманно представлял себе, о каком именно «деле» идет речь, но пока решил этого вопроса не поднимать, а проследить до конца эту мысль, которая так, очевидно, настойчиво и полностью занимала умы присутствующих «передовиков» с пароходов, — мысль о человеке. Я тем более был вынужден не обнаруживать свое неведение, что коммуна меня представила, как «товарища из Балтийского флота, хорошо знакомого с нашими (т.-е. черноморскими) делами», и сразу же опровергнуть эту аттестацию было совсем неудобно.

— Ну, а разве у вас-то, у самих, у моряков, подходящего человека не найдется? Ведь не одна же тысяча вас народу имеется — спросил я, поддерживая разговор на ту же тему. Собеседников ответ оказалось слегка задел за живое.

— Да видите, товарищ, конечно, другому бы мы, если бы к спору дело пришлось, до драки бы доказывали, что такой человек найдется. Но ведь у нас сейчас не спор и не амбиция, а разговор по делу, и с вами говорим мы, как со своим, хотя вы и с другого моря. Так вот и судите: из администрации брать нельзя, потому что она вся против нас. Власть эту самую над нашим братом они, гады, слаще меду любят. Вы может на лейтенанта Шмидта укажете — так он один был, да и того не стало. Это первое. Теперь возьмем команду. Палубная, — это еще народ совсем темный. Алешки, Голая пристань, Херсонщина, Чигиринцы — лето здесь, зиму в деревне. Он еще на свою хату в селе все оглядывается и все думает: «как бы заробыть, та воликив купыть». Среди этих вы вожака не найдете. Теперь, скажем, в машине. Машинистов брать почти что нечего — из них каждый смотрит, как бы в начальство выбиться. А кочегары и угольщики,

хоть и есть среди них много ребят хороших, сознательных, стойких, но нужно такого, чтобы мог не с десятком-другим людей обращаться, а с тысячной массой, да и образование надо, чтобы при случае не обошли. А у нас нет такого, мы своих людей наперечет знаем.

— Тогда нужно просить, чтобы из организации прислали, — подал я мысль.

— Тоже не подходит, — живо откликнулись собеседники, — наша масса очень недоверчивая, чужого по своим делам она и слушать не станет. Особенно, если дело серьезного коснется. Знаем, говорят, мы этих ораторов «партейных»: сегодня здесь, завтра там, а ты отдувайся. Да еще признаться и боятся — из одной партии начнет человек дело делать, а из другой ножку подставят или спор заведут: один в одно тянет, другой в другое — общее дело расшатывается.

— Очень трудно с нашим народом! — закончили собеседники обычной уклончивой и ни к чему не обязывающей жалобной фразой.

Я согласился, что угодить действительно трудно, и исподволь, беседой стал выяснять, зачем собственно судовым командам черноморского торгового флота «человек нужен». В кратких словах дело сводилось к следующему.

Летом истекшего 1905 года была стихийная забастовка моряков «Русского общества пароходства и торговли». Так как забастовка эта пришлась в разгар вообще революционно-забастовочного движения, то общество поспешило пойти на уступки, чтобы ослабить напор масс. Главную же опасность для него представляла возможность возникновения союза моряков. Чтобы отвратить эту опасность, мудрые заправилы общества, кое чему научившись от уроков первоучителя по притуплению острых зубов рабочего движения —

Зубатова, решили дать «конституцию сверху», чтобы избежать «революции снизу». Такой куцой конституцией явилась так называемая Регистрация. «Регистрация» представляла собою изувеченный до неузнаваемости профессиональный союз, специально приспособленный к удержанию в подчинении наемных рабов, стихийно потянувшихся к организации. Регистрация создавалась при участии и действовала под непосредственным контролем дирекции Общества. Задачей ставила она, главным образом, урегулирование отношений команд с русским обществом и пароходной администрацией. Помещение ей предоставило Общество, поддержка, даже финансовая, давалась обществом. Из устава и наименования вытравлялось все, что носило следы революционных новшеств и закреплялась самая заскорузлая цеховщина. Правления и его членов не было, а были «выборные», председателя тоже не было, а имелся «староста выборных», причем независимость выборных от перемены настроений команд достигалась длительностью полномочий — выбирались на целых три года.

Этой организации давалась значительная административная власть: Регистрация могла (конечно, с санкции дирекции) увольнять матросов и кочегаров, налагать штрафы и другие наказания. Основой ее деятельности в этой сфере был «договор» команд с Русским Обществом, в котором много говорилось о правах дирекции и обязанностях команд и почти ничего не говорилось об обязанностях судовладельцев и правах команд. Зная, что этот подарок жесткий и трудно переваримый, капиталистические стратеги позаботились прикрепить к нему надлежащую приманку. Приманка эта и заключалась в слове «Регистрация». Дело в том, что помимо всего прочего особенно

сильно моряки чувствовали гнет и произвол администрации при найме. Именно не так при увольнении, как при найме. Безработица среди моряков, благодаря постоянному притоку из деревни новых кадров, была всегда достаточно напряженной, и вот, при поступлении на службу моряк слишком зависел от случайностей — иной через неделю поступает на новое место, а иной и полгода не может добиться. И чтобы попасть на работу нужно много и долго ломать шапку, клянчить и унижаться перед капитаном или механиком. Поэтому основное и всю массу воодушевлявшее стремление было избавиться от этих случайностей и произвола при поступлении на службу. Достигнуть этого можно было установлением организованного «порядка очереди поступления», для чего заводились списки очередей, регистры. Отсюда и «Регистрация». «Русское Общество», приняв надлежащие меры, чтобы Регистрация была послушной организацией в его руках, пошло на установление такого порядка, связанного со многими для него неудобствами, но крепко привязывавшего массу моряков к конторе «Русского Общества» добровольно принимаемой на себя покорностью, из страха потерять «регистрационный порядок» поступления на место.

Задумано это было недурно, и кадр «выборных» в своем большинстве под воздействием дирекции проведен был подходящий. И вот чисто морицкими «выборными» руками стало общество производить нажим и прикручивать команды. Но стихия бушующей вокруг революционной волны делала свое дело, и она через некоторое время захлестнула эту организацию — но в уродливых формах верховодства нескольких анархо-эсеровско-авантюристских личностей. «Регистрация» под их воздействием взбунтовалась и вырвалась из

рук дирекции, но со всякого рода эксцессами и скандальными инцидентами, вызывавшими глубокое недовольство команд.

Дело закончилось тем, что дирекция «Русского Общества» при помощи полицейских властей уничтожила свое изобретение и закрыла Регистрацию. И вот в тот момент, когда я начал работу в порту, масса моряков переваривала этот свой свежий первый опыт коллективной жизни и уже приходила к некоторым выводам вполне определенным. И, только усвоив себе эту коллективную переработку опыта, я понял до конца смысл этого настойчивого: «нужно человека» — и понял, что в этой короткой формуле о «человеке» скрыты уже все определившиеся в массе выводы относительно эксперимента с Регистрацией.

Выводы же эти были таковы: 1) Регистрация— мощное, могучее средство самозащиты и защиты интересов судовых команд, и всех вместе, и каждого в отдельности, в повседневной судовой жизни; 2) но для этого нужно, чтобы она была целиком в «наших» руках, а не в руках дирекции— т.-е. совершенно независима от нее во всех отношениях — финансовом, административном, в смысле прямого или косвенного влияния и, как начало всех начал, в смысле помещения; 3) но в то же время регистрация должна являться равноправной стороной с судовладельцами и выступать, как единый представитель судовых команд; 4) она должна быть признана неотъемлемой прерогативой. У Регистрации должно оставаться монопольное право посылки на службу в порядке очереди на освобождающиеся места — как гарантия действительной независимости моряка от произвола и основа справедливого распределения работы; 5) построена должна быть эта организация так, чтобы «выборные» действительно нахо-

дились в руках тех, кто их выбирает, а не наоборот, «не садились бы на шею» своим избирателям; 6) состав выборных, хотя они все взяты из кубрика, нисколько не обеспечил ни от злоупотреблений, ни от произвольного начальствования, ни от податливости в отношении к дирекции; значит, исключительно на «своих» тоже полагаться нельзя; 7)необходимо такое руководство организацией, чтобы оно не порождало ежеминутно бессмысленных и неосновательных конфликтов, а в то же время твердо, как стена, отстаивало бы добытые права; 8) нужен новый договор , где бы речь шла для команд не только об обязанностях, но и о правах; 9) при составлении договора и устава Регистрации «нас обошли», пользуясь неопытностью и малосведущестью, — нужно «не промолчать» следующий раз.

Вот, чтобы не проморгать, все предусмотреть, разработать, учесть все стороны положения и надлежаще «провести дело» и нужен был «человек». И моряки к каждому лицу, появлявшемуся у них со стороны, приглядывались и присматривались: не сможет ли он «провести наше дело».

Разумеется, все то, что я говорю, выяснилось для меня не с первого же нашего собеседования под всплески вечерних волн на Ланжероне. В тот первый вечер передо мной обрисовались лишь контуры положения, но беседа наша не была последней. За ней последовал еще ряд встреч, на которых появлялись все новые и новые товарищи с постепенно приходивших в порт пароходов. Ко мне явственно приглядывались, прощупывали. Я выполнял свои обязанности партийного агитатора и пропагандиста, но неизменно после того, что мне полагалось сказать, а слушателям выслушать «по текущему моменту», беседа наша возвращалась к чисто морским делам — к тяжелой

обстановке бесправия на судне, к деталям морской жизни и обихода, к тому, как всякими способами наверстывает потерянное дирекция Русского Общества, к тщательной проработке всего недавно пережитого опыта с его анализом, выяснением ошибок и уяснением того, как нужно было бы ставить ту или другую сторону, если бы т е п е р ь пришлось приступить к тому, что начиналось т о г д а. Это была хорошая, дружная коллективная работа мысли, где я учился применять общие положения марксизма к совершенно конкретному и специальному материалу, а товарищи пользовались возможностью осветить себе положение и наметить перспективы при помощи теории классовой борьбы.

Все наши беседы были «так»... «вообще», пока однажды мне не был задан вопрос в упор:

— А что вы скажете, тов. Карл? Весна идет, навигация на носу. Команды волнуются, не хотят мириться с положением.

— Ну и что же они думают?

— А вот, скажите, что вы посоветуете делать.

И собеседники пытливо посмотрели на меня.

—Советовать, товарищи, и агитировать вас я не берусь, а скажу только, что, по-моему, нужно открывать снова Регистрацию...

— Открыть обязательно! — рванулись в ответ все разом. —Но ведь не дадут.

— А не дадут, так надо открывать с дракой.

— То есть забастовка?

— Да, если иначе создать союз нельзя, значит надо бастовать...

— Браво! — воскликнули кругом. — Вот это слово и надо! У нас многие про себя эту думку таят, а выговорить не решаются.

— А почему же не решаются?

— Вести некому.

Опять та же песня.

Я пожал плечами.

— Ведут же другие, почему моряки не могут?

— Ну так вот что, товарищ, будем говорить прямо, — отрывисто и возбужденно наступили на меня. — Беретесь вы вести дело? Только прямо — да или нет? Этот вопрос мы задаем не от себя, а от всех товарищей, с которыми вы встречались здесь на Ланжероне.

— Берусь, товарищи, если вы поддержите.

— Не беспокойтесь, подопрем — оживленно и бодро заверили меня.

Ударили как-есть формально и дружно по рукам, обменялись рукопожатиями и с того же вечера постановили сорганизоваться в неофициальный комитет по подготовке забастовки. Основное его ядро составляли «береговые» жители различных «коммун» и с каждого парохода по два-три человека должны были держать связь с нами и во время стоянки в одесском порту, и во время рейсов, через встречные пароходы.

С этого момента наступил «тактический» период моих отношений с моряками. Всеобщая морская забастовка — при военном положении, в период нарастающей активности черносотенных групп «Союза русского народа» и при несомненном «едином фронте» властей и судовладельцев — было дело не шуточное. Вызвать забастовку такого размера, что она даст себя почувствовать не только на всем юге, но и по артериям движения хлебных грузов, отзовется до самых недр России, — значило повысить общую напряженность борьбы двух враждебных лагерей — пролетарского и буржуазного. Успех или поражение этого предприятия должен был неизбежно отозваться на моральном состоянии этих лагерей. По исходу такой забастовки невольно должны были заключить и друзья, и враги: «мы бьем или нас бьют»? Тем более это верно было в отношении Одессы и побережья. Первой заботой моей поэтому было прощупать, как следует, состояние духа судовых команд и удостовериться, действительно ли масса мыслит себе забастовку, как единственный путь к решению задачи и готова вступить на этот путь. Для проверки я через связанный с нами пароходный актив поставил на всеобщее, хотя и не формальное, обсуждение на пароходах вопрос о возобновлении Регистрации путем подачи ходатайства властям о снятии запрещения. Нельзя было быть уверенным, что масса полностью изжила иллюзии на счет попечительного начальства, и если надежду на этот мирный путь таили в себе еще многие среди команд, то она могла вызвать в будущем трещину, если бы борьба затянулась. С отвращением ряд революционно настроенных товарищей взяли на себя роль застрельщиков этой мысли о начатии дела путем ходатайства. С восторгом на следующем совещании в один голос с разных концов принесли они известие, что эту мысль «прямо затюкали», «и слушать не хотят!», «смеются», — «не рад был, что и заговорил». Показание это я проверил и несколькими беглыми, маленькими собраниями более массового характера, на которые приходили свободные от вахты пол-команды. Собраниям сообщалось, что — вот мол — некоторые товарищи предлагают написать прошение от имени всех моряков властям, чтобы опять разрешили Регистрацию. Собраньица высказались самым категорическим образом против:

— Чего бумагу переводить! Они и ту, какая была, закрыли, а такую, как нам нужно, разве можно выпросить. Нужно что-нибудь серьезное предпринимать.

Точка. Вопрос стал совершенно ясным.

Следующим пробным шаром было предложение выработать требования и начать переговоры с Русским Обществом. Чтобы не вносить сумятицы и не вызывать сомнения в готовности руководящего ядра вести активную борьбу, чтобы это ядро не было заподозрено в склонности искать компромиссов и соглашательствовать — и это второе предложение было брошено на пароходы, как настойчивое мнение отдельных лиц в неофициальных, но оживленных обсуждениях и спорах в кубриках за обедом, перед сном или во время отдыха на берегу, в каком-нибудь излюбленном местечке с выпивкой вроде «Афинки» или «Садика». И эта мысль массой была отброшена по тем соображениям, что: «они (т.-е. судовладельцы) думают, что за ними вся сила и с нами считаться нечего. Наши требования они кинут за окошко, а делегатов, если выберем для переговоров, арестуют, вот и весь конец разговорам. Надо прямо брать за горло, тогда будут разговаривать!» И эта позиция была проверена и подкреплена всякими путями — и маленькими собраниями, и докладами, и опросами отдельных товарищей. Тогда была выдвинута новая, уже боевая, и от имени ядра выставленная формула: б а с т о в а т ь б е з в с я к и х п р е д в а р и т е л ь н ы х п е р е г о в о р о в и о б ' я с н е н и й. Эта платформа была дружно подхвачена и даже со злорадством: «чего им об'яснять! Они понимают! Знает кошка, чье мясо с'ела!» «Вот это дело! Сначала по уху, чтобы на ногах не устояли, а потом уже и разговор вежливый будет».

Развернули короткую ударную агитационную кампанию по всем находящимся в порту пароходам с паролем — передай дальше по линии: — «Бастовать без переговоров, добиваться Регистрации». Порт загудел, откликнулся единодушно — «сходим на берег по первому призыву». Стали по городу бродить слухи, что что-то в порту затевается. Стала чаще заглядывать в порт полиция, на Ланжерон шпики. Но дело было твердо на ходу, а моя костюмировка, то под матроса, то под масленщика в «синей робе», то под боцмана, пока хорошо меня прикрывала. Полиция начала сильно шарить по городу, разыскивая матроса балтийского флота Карла—но такого нигде не оказалось.

Приближалось 1-ое мая. Мы пустили для диверсии слух по городу, что первомайской забастовкой начнется забастовка судовых команд. Полиция мобилизовалась и порт заняли усиленные наряды. Первомайская забастовка где удалась, где нет. На одном пароходе не работали пол-дня, на другом не работали вовсе, на третьем выкинули красный флаг, но налетела полиция и флаг пришлось убрать, да еще вдобавок и работать целый день под наблюдением городовых. На другой день на всех пароходах, как ни в чем не бывало, красили, мыли, чистили, обивали ржавчину, готовились к отходу, грузили, разгружали. Работали с особым усердием: с берега была дана директива не шевелиться, ждать сигнала, не подавать вида, что чего-нибудь ждут. И среди такого всеобщего спокойствия и усердия на ближайшее воскресение специальными гонцами команды созываются на общее собрание на Ланжероне. Вызов передан был на каждый пароход одному или двум держащим связь. И с вечера, в субботу, каждый сообщил уходящим домой на ночевку.

— Завтра утром вернись на пароход.

— А в чем дело?

— Говорят, приходи на пароход. Что тебе еще надо? — и, подмигнувши, многозначительно прибавлял — я угощение ставлю.

И на другой день все были на пароходе и дружной компанией, с демонстративно торчащими из карманов горлышками бутылок, тянулись погулять на Ланжерон. А там уже стояла растянутая цепочка — один помахивал картузом и давал направление к другому. Этот, другой, забавлялся подбрасыванием камешков палкой и камешки летели как-раз в том направлении, где за большим камнем сидели двое и ожесточенно дулись в «хлюста». Идущие мимо слышали тихонько вопрос, «с какого?» и, ответивши «с Чихачева» или «с Тотлебена», получали дальнейшее указание пути. Собралось сравнительно не так много — человек 300—400, но это было почти все, что было свободно от службы в этот день на стоящих в порту пароходах. В порядочном отдалении от города и в довольно беспорядочном виде, под ярким майским солнцем, расположилось, в небольшой ложбинке между двумя огромными осколками известняка, наше собрание. Здесь мы заново прошли весь курс в сжатом виде: и Регистрацию, и ее значение, чем она могла быть и чем была, и что теперь, и какие пути. Расчленили на отдельные пункты, проголосовали и пришли снова к тому же выводу: «бастовать, не начиная переговоров». А пока мы обсуждали, от города показались всадники: казаки и полиция.

— Ну, товарищи, — сказал я, глянув на город— решено?

— Решено. Довольно разговоров!..

— Так давайте выбирать стачечный комитет.

Приступили к выборам, голосовали, считали руки, старались соблюдать пропорцию — чтобы матросы не превысили кочегаров и, наоборот. Вылезали кастрюльники и говорили, что если буфетная прислуга имеет свое представительство в стачечном комитете, то и они также должны

иметь. Что-то хотели требовать и коки, но полиция была почти уже за спиной. Последние кандидатуры голосовались без счета, на крик:

— Такого-то согласны?

— Согласны!

— А такого-то?

— Не нужно, шкалики любит!

Кончили последним, на котором были согласны. Я быстро прочитал вслух весь получившийся список.

— Товарищи, верите этому забастовочному комитету? Пойдете за ним?

— Верим! Пойдем!

— Ну, так ждать нашего сигнала. И тогда дружно все на берег. А сейчас — в рассыпную!

И, связывая слово с делом, я нырнул в толпу, вынырнул, скользнул между камнями, перескочил какую-то яму и кубарем скатился под крутой берег к самому морю. Разделся, бултыхнулся в воду, поплыл и, отплывши уже, мог с моря в качестве зрителя наблюдать, как конная полиция останавливала то одного, то другого, а вся масса действительно в рассыпную неслась, кто к городу, кто от города. Многие лезли вверх к дачам на четвереньках по крутому косогору, а городовые снизу, грозя плетью, требовали, чтобы они скатились обратно и хватались даже за кобуру револьверов. Кое-кому досталось и по спине, кое-кого было и потащили, но на пол-дороге бросили, получивши, вероятно, небольшую мзду. Вынуждены были по случаю переполоха, как зайцы, шмыгнуть врозь еще участники нескольких небольших собраний, к нам отношения не имеющих, и Ланжерон быстро опустел.

Выкупавшись вдоволь и погревшись на солнышке, медленно побрел я тоже в город, зорко глядя по сторонам. Провалиться в тот самый мо-

мет, когда механизм совершенно налажен и пружина заведена, было бы совсем неуместно.

Стачечный комитет собрался в тот же вечер и наметил план действия. Назначили день забастовки, оповестили надежных лиц на пароходах. По какой-то случайности это просочилось и стало известным враждебному лагерю. Но в то же время прошли настойчивые слухи, что на этот же день черносотенцы назначили еврейский погром. Смешивать два ремесла—забастовку и погром—в один день нельзя было по целому ряду причин. Среди них были и опасения, как бы не вовлеклись в это дело хулиганистые элементы из моряков — позор ляжет на всю корпорацию. Наше выступление поэтому мы отменили «до нового извещения и чтобы выступать по первому требованию, равняться по Чихачеву». Отмена передалась на пароходы, но противнику это не стало известным. И вот в тот день, когда должна была начаться забастовка, порт наводнили полиция и воинская сила. Моряки и не моргнули — обычная работа на пароходах кипела. Слухи о погроме тоже не оправдались, и день прошел спокойно. Дважды приготовлялись встретить забастовку репрессиями в самом начале и, обманувшись в ожиданиях, власти и пароходное общество перестали вообще верить этому слуху и успокоились. Ничего не случилось и на другой, и на третий день. На четвертый день перед обедом на несколько пароходов почти одновременно «заскочили» члены стачечного комитета и бросили оторопевшей от внезапности команде:

— По постановлению стачечного комитета об'являю забастовку. Команда, на берег!

И сами тотчас же «вира» с парохода. Легкое замешательство, выбегают на палубу, смотрят на «Чихачева». «Чихачев» полон груза и пассажиров,

полон хлопотливой передотходной сутолокой и уже дан второй гудок. Глаза команд со всего порта напряженно устремлены на него — «отвалит или не отвалит». С высокого берега, с Николаевского бульвара, смотрим и мы — несколько членов стачечного комитета.«Отвалит или не отвалит?» — от этого зависит судьба трехмесячной напряженной работы. Около трубы «Чихачева» вырывается белый дымок и густой «Ропитовский» бас прорезывает воздух. Кочегар рядом со мной бьет об землю свою «джонку» и вскрикивает:

— Провалили мерзавцы!.. это третий гудок.

— Сходят, сходят, смотрите, по трапу! — кричит другой.

И, действительно, по трапу на берег скатывается небольшая фигурка в синем рабочем костюме, с непокрытой головой, останавливается, оборачивается к пароходу, поднимает голову и руки, что-то кричит и потрясает обеими руками. В руке кусок пакли — это человек прямо от машины. Сверху вниз, вслед за ним, вдруг, как картошка из мешка, сыпятся фигуры — синие и белые, палуба и машина. Гудок обрывается. Кучка поворачивается к соседним пароходам и машет руками, фуражками. И в то же мгновение на соседних пароходах поднимается суматоха: команда сбегает на берег. Капитаны мечутся и беснуются на мостиках. Поздно... бесцельно. Волна несется по порту. Моряки сходят, команды бросают работу.

— Ух, гора с плеч! — говорят товарищи рядом.

Нам пора исчезать с бульвара, и мы исчезаем.

Через несколько часов пароходные общества получили коротенькие извещения:

«Доводим до вашего сведения (как-будто они сами этого не заметили!), что сего числа команды всех пароходов забастовали. В случае желания вами выяснить требования команд и условия пре-

кращения забастовки, необходимо обратиться к выбранному для руководства забастовкой стачечному комитету».

Адрес не указывался. Вместо подписи стояло «стачечный комитет» и его печать.

— Захотят вести переговоры, так найдут способ нам сообщить, — говорил при отправлении послания наш «хранитель печати», прикладывая ее к письму.

В тот же день после обеда, в Александровском парке, который был тогда, действительно, парком, а не ощипанным петухом, как сейчас, под сиреневым кустом сидело несколько человек. Они разложили на коленях устав Регистрации, договор, бумагу и осторожно поглядывали по сторонам. Ни на одном из них не было ничего морского. Это заседала часть стачечного комитета за выработкой требований и проекта нового договора и нового устава.

— Пока они надумают разговаривать с нами, мы успеем приготовиться, — сказал один.

Мы погрузились в работу. Началась летняя забастовка 1906-го года.

II.

ЛЕТНЯЯ ЗАБАСТОВКА.

Не первый раз видел Одесский порт забастовку черноморских моряков, когда они 12-го мая 1906 года дружно сошли на берег с пароходов: это было четвертое по счету выступление судовых команд за время существования торгового флота на Черном море. Все три предшествовавшие стачки приходились на короткий промежуток под'ема революционной волны после 1900 года и все они носили стихийный характер неоформленного, полуполитического, полуэкономического протеста, сливающегося больше или меньше с одновременными подобными же движениями рабочих других профессий и предприятий. Все подобного рода выступления, естественно, носили кратковременный, ударный характер, подобно огромной волне, обрушивающейся на береговые утесы и откатывающейся тотчас же назад, почти без задержки. Оканчивались ли такие массовые, забастовочные набеги больших и малых отрядов рабочего класса успехом или неудачей, это не имело большого значения. Ведь зачастую, даже почти как правило, прежде начиналась забастовка, а затем уже вдогонку ей шла наспех выработка тех или иных требований, которые

играли главным образом роль строительных лесов для проводимой работы политического осмысливания стихийного выступления в головах его участников. Да и мудрено было бы сильно рассчитывать на осуществление выдвигаемых требований, когда в них нередко стояли рядом оплата сверхурочных и амнистия политическим заключенным, вежливое обращение на кирпичном заводе и созыв всероссийского учредительного собрания. В этих случаях при успехе и при неуспехе шел непрерывный рост массовой активности и сознательности, и каждая победа и каждое поражение равно являлись лишь уроками наглядного обучения в школе массовой рабочей активности.

Поэтому, после трех забастовок, которые можно было рассматривать, как ряд поражений — если смотреть со стороны непосредственных практических результатов, и как ряд побед—если учитывать каждый раз изменявшиеся к лучшему боевой дух и массовую сознательность и дисциплинированность моряков, приняли начинавшуюся четвертую забастовку, как эпизод, во всем подобный трем предыдущим.

Высыпавшие прежде всего на Николаевский бульвар матросы и кочегары были уверены, что и на этот раз дело будет короткое: неделя, десять дней, ну в крайнем случае две недели протянется забастовка. Две недели побастовать в самый разгар блистательного южного мая, когда воздух нежит и солнце греет в самую пору — совсем тепло и совсем не жарко, когда зелень травы, буйно наливаясь соками нагретой земли, так и манит разлечься беспечно в небрежных и вольных позах и, глядя на искрометное синее море, обсуждать шансы успеха борьбы и шансы возможного на

сегодня обеда — это ведь не забастовка, а просто прогулка, маевка.

В памяти участников так и осталась эта забастовка под именем «майской» и в слове этом запечатлелся не только календарный месяц, на который пришлась она, но и все настроение полного весеннего благодушия, светлой бодрости, душевного и телесного отдыха, которому с наслаждением,—очевидным, брызжущим со всех лиц и из всех поз и телодвижений — предавались забастовавшие моряки.

Глядя на море, как командная высота, господствующая над портом, протянулся не длинный, широкий Николаевский бульвар. По средине его стоял, как стоит и поныне в тоге римского патриция с протянутой рукой бронзовый граф Ришелье, которого революция пощадила, а Советская власть пристроила к делу, заставив гордого графа в порядке трудовой повинности и в будни и в праздники поддерживать рукой своей скромные телеграфные провода красноармейских частей и разношерстного Чона.

В одном конце бульвара стоял весь белый с колоннами Воронцовский дворец, а в другом темный бронзовый Пушкин непрерывно глядел вдаль бульвара бронзовыми очами на Ришелье и на дворец Воронцова, а рядом с ним сотню лет старинная пушка грозила своим жерлом на море. Вот это пространство между дворцом, поэтом и графом было излюбленным местом дневного гуляния «лучшего» общества старой Одессы царского времени. Дамы — барыни, девицы — как феи, франты военные с погонами, франты штатские без погон, ленивые, уверенные в себе и в своих барышах коммерсанты, юркие молодые люди, проходящие спекулянтский свой стаж, и прочее и тому подобное фланировало по бульвару, за-

полняло все скамьи, гуляло, флиртовало, отдыхая, острило шутило и впивало беспечно радость жизни и весеннего солнца на фоне ласкового синего, синего моря и неба... И вдруг — пассаж. Как настойчивые воды реки в половодье, заливающие зеленый луг или насыпь, будто медленно и незаметно, а в сущности быстро и с волнующей тревожной бесшумностью, полился на бульвар наш моряк. Вот показалось их два, а затем уже десяток, потом запестрела все гуще матросская «голанка» и кочегарская синяя «роба» залила и окрасила густо бульварный цветник «чистой публики».

— Что это значит? Откуда их столько? — переспрашивали изумленные и шокированные приятели, бульварные заседатели друг у дружки, со скамьи на скамью.

— А это моряки забастовали, — весьма любезно и совершенно дружелюбно раз'яснила, хотя и неспрошенная вслух, проходившая группа матросов и кочегаров.

— Моряки! Забастовщики!

Бульварная публика почувствовала себя, как-будто она оказалась неожиданно не среди моряков, а между двух-трех сотен тигров из африканских лесов, которые, мирно помахивая хвостами, появились погулять на бульваре.

Эффект был поразительный: все дамы, барышни, офицеры, франты и спекулянты исчезли, можно сказать, почти моментально. Накатившаяся с моря из порта волна начисто их смыла и с бульвара.

Забастовавшие моряки оказались полными хозяевами после этого бегства буржуазных сливок общества и расположились на нем в свое удовольствие. Любо было глянуть тогда на бульвар нам, членам стачечного комитета, изредка пробегая по нем куда нибудь в деловой спешке. На

скамейках, а кому не хватало места, так и просто на земле у скамеек, усыпанной гравием, сидели и балагурили группы моряцкой молодежи, перебрасываясь словцами и замечаниями с прогуливавшимися другими группами своих товарищей. Бульвар кишел этой радостно взволнованной, по праздничному себя чувствовавшей и, все же, ко всяким осложнениям тревожно готовой толпой. Но особенно приятно глазу и интересно наблюдению была картина, развернувшаяся на зеленых склонах и откосах, спускающихся от бульвара вниз к порту и покрытых травой и деревьями. Там расположилось все наиболее активное и все наиболее ленивое, все склонное к созерцательному ничегонеделанию и все обуреваемое страстью азарта и возбуждения. Остановитесь на момент и полюбуйтесь. Вот вам группа углубленно-сосредоточенных лиц. Они сидят в два ряда амфитеатром, одни глядят не отрываясь в землю между своих ног, другие, так же не отрываясь, смотрят в рот оратору, который, стоя на одном колене и сдержанно помахивая веточкой, горячо убеждает в чем то затихнувших слушателей. Вглядитесь в его немного скуластое лицо, волоса, скобкой вырывающиеся из под синего околышка видавшей виды студенческой фуражки, вслушайтесь в его волжский говорок на «о», непрестанно поминающий в соединении «пролетариат, крестьянство и интеллигенцию», и вы можете биться об заклад, что это эс-эр развивает идею внеклассовой, общенародной трудовой партии. И стоит вам взглянуть на полулежащего рядом, опираясь на локоть в ожидании своей очереди говорить, иронически улыбающегося курчавого, черноволосого интеллигента с еврейско-типично-эс-дековским лицом, поблескивающего стеклами пенсне, чтобы с уверенностью знать, что дело будет жаркое, что за

короткие 3 часа будут перетряхнуты и Маркс, и Энгельс, и Чернов, и Михайловский, и Плеханов, и Ленин, и с'езды, и резолюции, и станут под конец у слушателей в головах молотки стучать и соловеть глаза. Но будьте уверены, что через два, три дня эта же кучка переварит с трудом полученную порцию политики, пригласит и «стравит» ершистого, взлохмаченного и внутри и снаружи анархиста с вымуштрованным, держащим свои мысли и аргументы в дисциплинированных шеренгах, сухим социал-демократом...

Но перенесите взоры свои чуть-чуть в сторону, всего лишь рядом, к соседнему, широким куполом раскинувшему тень свою дереву. Это что за коллектив завзятых сонуль там раскинулся звездою. Тесно сблизив свои головы у подножья дерева, разбросав лучами по радиусам здоровенные молодые тела, кто кверху брюхом, кто кверху совсем другой частью тела, раскидав руки и ноги в самых замысловатых фигурах, вольно и просторно они спешат покрыть все недоимки сна, все недосыпки ночных вахт, таких тяжелых между полуночью и рассветом, будь то в отчаянном жару кочегарки или в ночной мглистой сырости палубной вахты, на баке. Они спят,дружным храпом своим врываясь в соседнюю дискуссию и с своей стороны не испытывая ни малейшей тревоги от грохота и гоготания, несущегося из кружком усевшегося клуба картежников. Там царит «хлюст» и веселье. С треском и щелканием бьет козырной туз короля, хлестко отсчитываются удары дюжиной карт по багровеющему носу, плещут ладони в рукоплесканиях под аккомпанимент хохота и насмешливых криков и несется суровый бас проигравшего:

— А ну, сдавай, бисова душа, не дери глотку, придет и моя очередь посмеяться...

А вот поодаль и сибариты. Простелив на шелковистой травке, принесенный женой или подругой платок, разложив на нем всякую незатейливую снедь с парой бутылочек пива, не спеша предаются в тихой компании благодушному чревоугодию, наслаждаясь вполне сознанием, что не нужно глотать и торопиться в ожидании боцманского окрика: «а ну, кончай, пошевелись, выходи на работу».

Отдельно в сторонке, в разных местах, разбросаны одиночки с книгами. Это честолюбцы, упорно решившие пробиваться на верх к капитанскому мостику и каютам администрации, будущие машинисты, штурмана самоучки. Они пользуются неожиданным досугом, чтобы одолеть несколько лишних страниц из руководства об уходе за паровыми котлами или «морской практики», раздумывая над прочитанным, поглядывают на солнце и шевелят листами книги, прикидывая, сколько еще страниц смогут сегодня пройти до обеда...

Но мы слишком задержались, прислонившись спиной к дереву и глядя вниз на панораму замершего порта и оживившихся зеленых спусков к нему. Уже обступили нетерпеливой, жаждущей важных для них новостей, любопытной и все увеличивающейся толпою товарищи-моряки с тысячью вопросов, сливающихся в одном: «что нового слышно, как наши дела и что делать дальше.» Отвечаем на лету на вопросы и с длинноногим, худым Александром даем с места «полный вперед», так как городовой, стоящий на посту, видимо хочет полюбопытствовать, почему моряки вдруг сбились в кучу. Мы уносимся прочь, шагая, как жирафы, и стараясь перешагать один другого, а наросшая на бульваре вспухлость скучившейся толпы, рассыпается без следа прежде чем встре-

воженный «мент» успевает пройти половину дороги.

Совсем не так благодушно и безоблачно были настроены мы, «стачечный комитет», все вместе и каждый по одиночке. К радости, вызванной дружным, лихим и напористым началом забастовки примешалась не малая доля озабоченности под тяжестью павшей на наши плечи ответственности в борьбе, которая, мы знали, будет не легкой. Что стояло в этой борьбе против нас? Против нас были силы не шуточные. В первую голову мы имели могущественное, самое большое в России «Русское Общество пароходства и торговли», тесно связанное с государственными и правительственными интересами и имевшее в составе пайщиков своих почти сплошь целый ряд весьма высокопоставленных лиц, вплоть д овеликих князей царствующего дома. Таким образом нашей забастовкой мы с первых же дней ударили по августейшим кошелькам и карманам, которые столь же болезненно чувствительны к убыткам, как купецкие карманы любого Колупаева с Разуваевым.

В одну шеренгу с Р.О.П.Т-ом общий моряцкий «исход» с пароходов на берег поставил и всех других судовладельцев: «Российское Транспортное и Страховое Общество», затем группу мелких частновладельческих компаний вроде «Звороно», «Павел Шполянский» и «Петр Ригер» и, наконец, серию совсем мелких коммерсантов, владеющих каким нибудь одним пароходишком, который, обладая воинственным наименованием, вроде «Дмитрий Донской», или «Ермак», в «свежую» погоду отсиживался совсем не воинственно в каком нибудь порту, а в хорошие дни «лазил» где нибудь в углу Черного моря между Одессой и Херсоном, Очаковым и Николаевым.

Таким образом в нашем выступлении мы имели против себя единый судовладельческий фронт Черного моря. Не хватало в его составе, правда, такой солидной, увесистой величины, как общество «Добровольного флота», потому что его команды в забастовке участия не принимали. Их отсутствие было далеко не случайным. Еще когда забастовка подготовлялась, то естественная готовность провести готовящееся дело в наиболее полных и совершенных формах заставила нас обратить взоры на команды «Добровольного флота». Первоначальная формула гласила: «если уже все — так действительно все. Нужно, что бы и Добровольный флот бастовал». Правда, чей то скептический голос бросил при этом расхолаживающее замечание, что в Добровольном флоте не примкнут к забастовке, потому что «их ф о н д о в ы м и как коней на пастьбе постреножили», но замечание это ничего не изменило в принятом решении о вовлечении в забастовку и Добровольцев. Но это было решено «без хозяина», т.-е. без представителей команд Добровольного флота. Когда же мы сунулись к ним на пароходы с этой заманчивой по простоте своей формулой, то нам очень быстро была раз'яснена вся обманчивость и опасность этой простоты. Дело оказалось много сложнее. Во-первых, в Добровольном флоте ставки жалования оказались много выше, чем на всех других пароходах и почти равнялись тем, какие собирались еще требовать мы в своем выступлении. Во-вторых, штаты там сохранились еще со времен русско-японской войны, расширенные и значительно превышавшие потребность, так как пароходы в то время уже больше стояли в порту, чем были в плавании. И в третьих — эти самые «фондовые», т.-е. те обязательные вычеты, которые общество делало из жалования служащих в пен-

сионный фонд и которые при забастовке терялись вместе с надеждой получить «пенсию» после 15 или 20 лет безупречной и непрерывной службы.

Когда собрались к обеденному перерыву в матросском кубрике делегаты со стоящих в порту добровольцев и хозяева всех нас по принятому обычаю посадили вместе с собою в 12 часов хлебать из общих бачков жирный и неподдельно флотский борщ, дебелый грудастый боцман, вытерев усы и сказав, чтобы подавали второе, начал излагать нам резоны.

— Мы от общего дела не прочь, товарищи,—степенно и веско «пояснял» он нам, приветливо поглядывая серыми глазами и пододвигая вилки,— но только бастовать нам с вами нет смысла. Силы вам никакой не прибавим, потому что пароходы наши и так, если прикинуть, день плавают, а пять стоят. Правление наше только обрадуется, что получит причину для расчета большей части команд. Кормить же нас, если мы забастуем, кому-то придется и вы себе только лишнюю тяжесть на руки возьмете. И стойкости, какая нужна, у наших не будет. И на всех других бастующих это влиять будет нехорошо. Вы уже задумали, так и боритесь, а мы вас поддержим отчислениями: сколько порешите процентов с жалования, столько и собирать будем. На это можете вполне положиться.

Так на этом в конце концов и порешили и неучастие команд Добровольного флота в забастовке было санкционировано в дальнейшем формальным решением общего собрания бастующих моряков.

Вторая сплоченная сила, стоявшая против забастовавших моряков, была судовая администрация, воспитанная в традициях абсолютной власти на судах, самовлюбленно гордая этой властью, упоенная ею и тупо воображающая себя слепленной из особого теста только потому, что ей даны были все возможности «жать» и «прикручивать» рядового моряка. Пронесшиеся годы революционного кипения мощно встряхнули эту безоговорочную власть судового начальства и вызвали в нем озлобление и жажду ожесточенного отпора. И теперь, с началом летней забастовки, они знали, что это будет еще раз отчаянное покушение на их власть и престиж и потому сразу сгрудились и стали стеною на стороне судовладельцев.

И, наконец, против нас же стояла и власть одесского генерал-губернатора, подкрепленная всеми расширенными правами и полномочиями, какие давало бывшее тогда в Одессе военное положение.

Всем этим силам противостояла в сущности весьма малочисленная кучка моряков тысяч 4—5, вышедшая на борьбу почти что с голыми руками, не имеющая ни организации, ни денежных фондов, чтобы вести забастовку.

Первые два-три дня забастовочный комитет с головой погрузился в поспешную разработку требований, чтобы не быть захваченными врасплох в случае начала переговоров. Дело было не совсем простое, так как требования представляли собою целую систему, регулирующую все условия работы и правовое положение команды на пароходах, с учетом особенностей работы и службы на судах различного типа. Необходимо было рассмотреть особо заграничные линии и линии внутреннего плавания, пароходы пассажирские и грузовые, и те, что делают только ночные рейсы между Одессой и Николаевым или Анапой и Керчью, и буксирные катера с их лишенной всякой регулярности работой. Приходилось коснуться всего — жалования, и сверхурочных, и рабочего дня, и «авралов», и штатов и помещений, и «лажа на золото» в заграничном плавании, и ряда других

2) организационная — поддержка непрерывной связи с бастующей массой и

3) финансово-продовольственная, т.-е. добывание средств и организация кормежки бастующих.

Но превыше всего и на первом месте стояла задача сохранения в целости руководящего органа всего дела — забастовочного комитета—и мы прежде всего об этом позаботились. С первых же моментов была обеспечена преемственность руководства в случае провала всего стачечного комитета целиком. Это достигалось тем, что немедленно же был создан «резервный» стачечный комитет из товарищей, привлеченных по усмотрению того комитета, которой был выбран на собрании на Ланжероне перед началом забастовки. Полномочия на такое привлечение у нас имелось. Связь с резервным стачечным комитетом поддерживалась через двух членов нашего состава, которые держали в курсе всех наших дел и мероприятий членов резервного комитета, при чем этот последний на собрании не собирался, пока был основной действующий комитет.

На ряду с этим весь наш стачечный комитет перешел на нелегальное положение и законспирировался. Все мы не ночевали дома, а ходили по «ночевкам», меняя каждую ночь квартиру. Чтобы сбить полицию со следа, нами был составлен целый фальшивый список имен десятка полтора или два и пущен «под самым строжайшим секретом» в оборот в пяти или шести разных комбинациях, как список членов стачечного комитета, и скоро весь порт гудел этими именами и в этом настойчивом гуле потонули наши действительные имена. Фальшивые имена гуляли на просторе, передаваясь на ухо от одного к другому и через пару дней не было такого моряка и такого шпика в порту, который бы не знал наизусть эти имена, а полиция

больших и малых вопросов жизни судового обихода. Короче говоря, когда мы суммировали все эти пункты, то увидели, что мы занимались ничем другим, как выработкой проекта коллективного договора для всего Черного моря. Но это было только одна часть дела . Другую и важнейшую представлял «устав Регистрации». Нужно было старый, задуманный в директорских кабинетах Ропит'а для приручения по зубатовскому методу моряков при помощи их же собственной организации, переработать в новый устав, создающий истинную пролетарскую организацию, опору и орудие классовой борьбы моряков. Естественно что вся эта работа поглотила сразу все наше внимание и, лишь справившись с нею, мы могли как следует оглянуться и оценить создавшуюся обстановку.

И когда мы действительно оглянулись, ощутили всю численную малость наших кадров, посчитали по пальцам враждебные силы, то нам стало немножко даже жутковато.

Но мал золотник да дорог. Немного моряков, но им держится грузооборот всего юга и расстройство его отзывается до самых недр Европейской России. Без судовых команд не поплывут пароходы, если нас некем заменить и если мы сами устоим прочно и не дадим расстроить наши ряды—то мы не проиграем. И кроме того, ведь мы не одни; за нами сочувствие и поддержка всего рабочего класса Одессы и всей пролетарской России.

Размыслив так, мы приободрились и принялись действовать. Три основные задачи стояли перед нами:

1) стратегическая—добиться в кратчайшее время переговоров с судовладельцами в наиболее выгодной для нас обстановке;

и охранка сбились с ног разыскивая несуществующих руководителей.

Приняв с первых же дней эти имена, мы почувствовали себя более или менее забронированными на некоторое время и приступили к решению перечисленных выше трех важных задач. Первый вопрос был — как завязать переговоры с судовладельцами. Разумеется, можно было бы отправить в правление Ропит'а, как главного противника, делегатов, или письмо с изложением требований. Но делегатов или презрительно не приняли бы или спровоцировали. На письмо ответили бы молчанием или наглым требованием прекратить забастовку и тогда уже разговаривать. Повадки хозяйско-господские в этих случаях известны. И судовладельцы действительно ожидали такого шага от бастующих и готовились в этой первой же попытке переговоров нанести им моральный удар: вот как мол мы сильны—и разговаривать не хотим. Но мы не дали им этого шанса. Мы решили подвесить их в состоянии полной неосведомленности, неизвестности, в потемках и поджаривать на огне томительного ожидания каких-нибудь шагов или действий, вносящих ясность.

Нам на-руку играло то, что солидно организованный характер забастовки не был разгадан противником с первых моментов. Действительно, она свалилась так неожиданно, команды сошли на берег так «немотивированно», без об'яснений, без заявления претензий, без пред'явления требований.

— Как стадо: увидели, что с одного парохода сошли и все бросились на берег не понимая что, почему, для чего. Кто где что делал, тот там то и бросил, даже каюту если подметал, так и веник в угол не поставил, а бросил посреди на полу.—Так рисовал начало забастовки потом почти каждый капитан. Естественно, если так стадно, сами не

понимая зачем и почему сошли, то скоро должны почувствовать бессмысленность своего положения и что-то делать: посылать письмо, или делегатов, или требования.

Но ничего этого не случилось: моряки как «глупо и стадно» сбежали на берег, так «глупо и стадно» продолжали на нем оставаться. Посланные на разведки штурмана и вообще администрация помельче с пожиманием плеч вынуждены были сообщить об эпидемии массового идиотизма, охватившего моряков. Они собирали по нескольку человек или перехватывали их по одиночке и спрашивали:

— Ну, об'ясните, чего вы забастовали? Какие ваши требования?

Но вопрошаемые твердо усвоили данную с первой же минуты директиву не вступать ни в какие разговоры или об'яснения помимо стачечного комитета, и отвечали с самым тупым видом:

— А разве мы знаем, разве мы начинали забастовку? Спросите тех, кто ее начинал. Как люди, так и мы.

— Так чего же вы сидите на берегу, раз не знаете из-за чего вы сидите. Это же глупо и по-дурацки. Идите на места, на пароходы.

На это самым добродушным образом и с величайшей готовностью откликались приглашаемые:

— А разве ж мы против того? Мы хоть сейчас. Как только все пойдут и мы сейчас же пойдем. Ого, впереди всех бегом побежим. Ну, а пока люди не пойдут и мы не пойдем.

И так как все по одиночке готовы были «хоть сейчас», а «все люди» и не думали шевелиться, то уговаривали злобно сплевывали и ругаясь шли доносить по начальству, что команды окончательно одурели и, как скотина, толкутся бессмысленно на бульваре, ничего не предпринимают и не требуют, но на пароходы итти не хотят.

Самое неприятное в положении судовладельческих обществ было при этом, что на естественные, тревожные запросы своих главных правлений из центра о причинах забастовки и ее целях директора в Одессе не были в состоянии хотя бы что-либо сообщить достоверно, кроме сомнительных слухов. Это ставило их в щекотливое, с каждым днем психологически труднее переносимое, положение. Именно на это мы и били. Но так как дирекция Русского Общества не могла разгадать сразу, что в странном и необ'яснимом поведении команд имеется определенный умысел— заставить судовладельцев первыми искать переговоров,—то они некоторое время держались тактики выжидательной, и, как Наполеон под Москвой, нетерпеливо высматривали они не идут ли послы, несущие ключ к раз'яснению им положения. Но, как Наполеон не дождался посланцев с ключами от столицы России, не дождались и пароходные общества посылки от нас делегатов. Судовладельцы молчали, но и мы на разговор не напрашивались. Вслед за тем молчание было прервано и стороны, как бойцы на шпагах, испытывающие крепко ли держит оружие рука противника, обменялись короткими ударами, не имевшими впрочем сколько-нибудь решающего значения. Но в этой стычке судовладельцы сразу почувствовали, что перед ними совсем не растерянное людское стадо, в смятении ждущее случая выбраться из глупого положения, а противник с устойчивым и крепким моральным состоянием духа и боевым настроением.

Эта первая стычка произошла в виде обмена, своего рода, нот. Дирекция Ропит'а вывесила об'явление, что в случае если команды немедленно не возвратятся на пароходы и не приступят к работе, то они все будут уволены, а вещи оставшиеся на пароходах задержаны и конфискованы. Некото

рое смущение этот выпад в наши ряды внес, так как он и нашей стороне ощутительно показал, что судовладельцы настроены воинственно и что борьба может быть совсем не такой простой и короткой, как казалось сначала. В ответ на об'явление Ропит а немедленно появилась коротенькая листовка, выпущенная на гектографе и высмеивающая выступление «Россиского Общества». Суть ее сводилась к тому, что уволить — это значит удалить с парохода, а так как моряки и так все на берегу, то судовладельцам как раз наоборот придется думать не о том, как согнать моряков с пароходов, а о том, как бы вернуть их на пароход. Что касается задержания пожитков, то посмеявшись над горькой участью матросских и кочегарских вещишек, которые будут посажены под арест на пароходах, отдуваясь за своих хозяев, разгуливающих на берегу, авторы листовки указали, что дело завязалось слишком серьезное, касающееся жизненных интересов всех моряков: не о таких пустяках, как судьба вещей нужно думать, а о том, чтобы тяжелую и вероятно долгую пролетарскую борьбу довести до конца и победить.

Листовка, составленная в стачечном комитете, была выпущена «группой моряков» и написана в легких шутливых тонах, с серьезными и увесистыми практическими выводами. Она в бодрых и решительных словах открыто указала массе на предстоящую тяжесть, длительность и серьезность борьбы, не понизив настроение, а повысив его, сделав более решительным. Исходя от «группы моряков» она представляла голос из самой массы, исходящей от ее наиболее энергичных, решительных элементов, подающих ободряющий голос всем остальным.

Листовка вполне достигла цели и в отношении противника и в отношении бастующей массы, ко-

торая посмеявшись, вслед за тем подтянулась и насуровилась — точно рябь пробежала по морю под порывом резкого ветра. И снова наступило молчание с одной и с другой стороны. В этом молчании мы спешно разрешали две другие неотложные задачи — связь стачечного комитета с массой и помощь бастующим, из которых не малое число сойдя с параходов не имели ни гроша в кармане и никаких запасов. То, что многие выскочили в чем были, даже без шапок, было не страшно — май месяц ласковый и к бедному телу человеческому милостивый, а сезон клонил, что ни день, к лету, к теплыни. Холод не был страшен, но кормить было нужно. Источником средств являлись сборы на помощь бастующим по фабрикам, заводам и предприятиям Одессы. Пролетарская Одесса живо откликнулась на обращение к ней, как нерегулярными взносами, так и регулярными отчислениями с субботней получки. Доброфлотцы твердо сдержали свое обещание о поддержке и во все время 42-дневной забастовки проводили самообложение в очень высоком размере, что-то чуть ли не 20 или 25 копеек с рубля. Таким образом, приток средств у нас сразу получился регулярный и позволяющий надеяться удовлетворительно разрешить продовольственный вопрос. Труднее был вопрос о правильном использовании и распределении получаемых средств. Выделены были в первую очередь остро-нуждающиеся, т.-е., которым уже сегодня нечего есть. Кто мог держаться до завтра, тот сегодня не получал. Затем остро-нуждающихся мы делили на семейных и одиноких. Бобылям сорганизовали кормежку «по квиткам» в портовых харчевнях из расчета 5 копеек обед и 5 копеек ужин, меняя почаще эти харчевни, чтобы не привлекать внимания полиции. Семейным же выдавали деньги с соответственной прибавкой на каждого члена семьи.

А так как моряки народ слабоватый, то деньги выдавались на руки хозяйке — жене, матери или вообще тому, на ком лежала забота накормить ежедневно семью. Когда стали слишком ворчать, что «мы бастуем, а деньги бабам отдают», мы заткнули глотки ворчунам тем, что стали из их личной доли пятачек выдавать на руки, а другой пятачек все-таки хозяйке вместе со всей остальной «семейной» суммой. При этом указывали, что «пятачек будет пропит, а обедать все равно домой пойдешь, вот другой пятачек и найдешь». Ворчуны решили, что лучше маленький шкалик да полный, чем большая пустая бутылка и замолкали на этом компромиссе. Зато в женской части, которая особенно страдает при такого рода событиях и обычно в массе враждебна забастовке, влияя в этом смысле и на мужчин, мы получили по меньшей мере твердый, благожелательный нейтралитет, а часто и энергичную поддержку. Вся эта работа, разумеется, только направлялась забастовочным комитетом, а проводилась своеобразной продовольственной организацией, сложившейся внутри бастующей массы, где десятки глаз следили за каждым шагом и ошибки исправлялись тотчас же. И настолько хорошо и прочно работал этот гибкий механизм, что нам почти не приходилось встречаться с злоупотреблениями на этой почве или с глубоким недовольством. Несколько грешных поползновений воспользоваться общественной копейкой были моментально вскрыты и ликвидированы. Наши маленькие расурсы по описанной системе распределялись настолько целесообразно, что здесь мы чувствовали прочную почву под ногами.

Эта продовольственная организация связывала нас, забастовочный комитет, с массой. Но, разумеется, такой связи было далеко недостаточно Самое главное это, чтобы бастующие не сидели

в потемках и неизвестности, чтобы они знали, что комитет действует и что именно он делает и предпринимает. Обычно это достигается путем собрания, где руководящий орган делает доклад, освещает положение, получает директивы и полномочия, выслушивает критику и замечания. Этим путем осуществляется связь с массой, но как раз этот-то путь и был нам заказан. Бастовать-то моряки могли, им никто не мешал и полиция в дело в первые дни совершенно не вмешивалась, но вот собраться да потолковать о делах забастовки — это шалишь, об этом собрании бастующих — и не мечтай легально резрешить, а нелегально... 4.000 человек.

Приходилось налаживать связь с массой как-нибудь иначе. Для разрешения этой задачи мы применили, упростив его, метод заговорщицких организаций. Каждый член забастовочного комитета, как действующего, так и резервного, осведомлял человек 5-10 ему лично известных и надежных о том, что нужно было довести до сведения всей массы бастующих. Те, в свою очередь, по тому же способу отбора, осведомляли каждый, тоже ограниченный, круг людей, и дальше уже шло под лозунгом «слушай и передавай другим». Сообщения, передававшиеся таким образом, были очень кратки и отвечали на самые жгучие запросы и вопросы, созревшие в массе, относительно забастовочного комитета, или давались совершенно ясные, категорические директивы его о том, как держаться. Например, после того, как команды сошли на берег и высыпали на бульвар, а с прибывающих в порт пароходов к ним присоединялись все новые и новые группы, у бастующих, естественно, возник тревожный вопрос: «а забастовочный комитет, где он, что делает, арестован, разбежался, работает, и если да, что делает?».

И в ответ на эти тревожные мысли и вопросы откуда-то из неизвестного места из уст в уста прошла краткая информация и директива: «держаться бодро, комитет цел, работает, организует финансовую помощь, вырабатывает требования».

И тем же путем держали в курсе даже этапов работы. Сегодня к обеду давалось извещение: разработан вопрос о рабочем времени и сверхурочных работах. К вечеру бастующие уже получали дальнейшую подробность: закончено рассмотрение ставок жалования, вознаграждения за грузовые работы и вопрос о довольствии в рейсе». На другой день новое сообщение: кончили экономические требования, принимаются за устав регистрации и т. д. Тем же путем, каким шел ток сверху от комитета к массе, он шел и обратно от периферии к центру и забастовочный комитет находился в курсе всего, что происходило в бастующей массе и четко на все реагировал. Сегодня разносится директива: «не пить, пьяных немедленно уводить домой. Водка может подорвать забастовку». И действительно, не успело быть дано это предупреждение, как обнаружилось несколько пьяных скандалов и масса видела, что указание дано во время и правильно— пьяных убирали, скандалы прекращались весьма решительным вмешательством и все вообще подтягивались в отношении хмельного зелья. А через пару дней смотришь неслась новая директива: «остерегаться провокации. Избегать драк, на которые будут вызывать, не давать повода полиции вмешиваться и применить насилие, не итти на собрания, которые будут пытаться устраивать провокаторы». И действительно, — на бульваре появились темные личности, притворяющиеся пьяными и задирающие моряков. Но моряки, как смирные овечки, в нарушение всех славных мордобойных традиций, уступали и отступали, и лишь ка-

кой-нибудь горячий парень, не стерпев слишком наглого вызова, давал несколько оглушительных, молниеносных оплеух задирающему хулигану и пускался стремительно вниз по откосу на-утек. Делал это последнее он скрепя сердце и вопреки обычаю, потому что моряки в драке упористы и нелегко уступают поле. Но в данном случае «драка», т.-е. длительная и упоительная свалка с гиком и криком, с наступлением и отступлением, наскоками и увертыванием, бой «на выдержку», противоречил бы полученной директиве. «Двинуть» же несколько раз и унестись, прежде чем задиравший успел опомниться, это не «драка», это на крайний случай допустить можно.

Благодаря такой постановке, масса все время чувствовала «руку» забастовочного комитета, которая очень твердо держала вожжи событий и направляла их. Это вселяло доверие и готовность следовать указаниям комитета-невидимки, который, как капитан Гаттерас на своем корабле, идущем к полюсу, везде в нужный момент давал чувствовать свое присутствие, подавая во время и нужную команду.

Для огромного большинства члены стачечного комитета являлись таинственными незнакомцами и в особенности таинственным был некий «товарищ Карл» без отчества и фамилии, неизвестного происхождения, занятий, национальности, который откуда-то свалился в порт и вот, здравствуйте: «забрал в руки все дело», прежде чем успели толком оглянуться, прежде чем успели толком опомниться. Как потом рассказывали, стачечный комитет в эти первые дни усиленной конспирации, представлялся собранием мрачных и решительных фигур, которые заперлись где-то в погребе или подземелье и сидя в темноте разрабатывают требования и план борьбы и одарены чудесным даром зрения и слуха—сквозь камни и землю видели и слышали все, что происходит на бульваре, среди бастующих и на их квартирах и соответственно «принимают меры». Мы же в это самое время или сидели в солнечный полдень, прядая ушами, как кролики, под кустами Александровского парка и обстоятельно разбирали вопрос о «часовых» [1], или в полном гомону и говору трактире «Медведь», под грохот и звон машины, голосившей и звеневшей про «Пожар Московский», обдумывали, как бы сократить и уточнить «авралы» [2], которыми донимает палубную команду администрация. Случалось, что утреннее заседание у нас бывало где-нибудь на 3-м этаже у зубного врача, куда мы с перекошенными от «зубной боли» физиономиями стекались к определенному часу, а вечерний совет наш заседал в море на рыбачьем баркасе верного рыбака, который вывозил нас к далеким сетям и пока он возился с ними и перебирал поплавки, мы, покачиваясь на мертвой зыби, доводили до конца утренние вопросы.

По улицам мы ходили по одиночке и с таким видом, будто мы никогда не слыхали о забастовке и понятия не имели, что в Одессе существует порт и моряки. На бульваре мы, конечно, не появлялись. Но был момент, когда наше существование в глазах недоверчивых и склонных всегда ожидать подвоха моряков становилось совершенно призрачным, и они начинали шептаться, что комитет давно забран, а под его фирму кто-то обманно морочит голову. Когда на этой почве появились признаки панического настроения, комитет принял решение «материализоваться», сделать вылазку

[1] Плата за сверхурочные работы.

[2] Особый вид судовых работ, требующих участия всего экипажа.

на бульвар, дать посмотреть себя воочию и, так сказать, пощупать руками. В определенный момент с разных концов бульвара среди моряков появились некоторые члены стачечного комитета. Каждый оставался не более двух-трех минут. Каждый отвечал на несколько вопросов и говорил несколько совершенно однородных фраз, смысл которых сводился к тому, что все мы целы, комитет работает, держитесь дружно и передайте всем, чтобы стояли стойко. Если всех арестуют, сейчас же займет наше место другой комитет. После того так же быстро в разные стороны мы улетучились с бульвара, точно нас там и не бывало.

Однако, всеми этими суррогатами и трюками можно было держаться только весьма и весьма короткое время. Стала клониться неделя к концу, а дело ни с места. Чего мы требуем, что предлагали судовладельцы, как войти с ними в соприкосновение и какая вообще будет тактика в этой забастовке, обо всем этом каждый рядовой моряк, принимающий участие в забастовке, ничего не мог сказать ясного ни себе, ни другим. И эта атмосфера бездеятельности и неизвестности становилась удушливой, начинала массу давить уже спустя несколько дней после начала. Против этой болезни могло быть только одно лекарство — общее собрание, которое все выяснило бы, освежило бы настроение, подкрепило и подбодрило унывающих и сказало твердо слово на счет того, в каком направлении вести все дело. Но этого-то лекарства, как уже сказано, у стачечного комитета и не находилось.

Продержись еще судовладельцы и дальше таким образом и они своим молчанием и неподвижностью просто, как петлей, удушили бы забастовку. И было жутких два—три дня, когда мы

думали, что дело именно так и кончится, что забастовка задохнется. Признаком этого явились речи, пошедшие среди команд, в том смысле, что «до зимы мы, что ли, будем так сидеть и слоняться? На берег вышли, а дела не видно. А бездельно чего же болтаться!». Это было опасное настроение.

К счастью, та же петля, что душила нас, душила и судовладельцев. Мы, как и они, не подавали признаков жизни в смысле желания вступить в переговоры. Пароходы стояли недогруженными или неразгруженными, железные дороги подбрасывали в пакгаузы все новые и новые массы товаров для перевозки, скоропортящиеся грузы начинали портиться, договоры нарушались, сталийные и контрсталийные [1] накапливались, страховые сроки истекали, отношения запутывались. Новые пароходы приходили в Одессу и точно в яму сваливались и оставались в ней неподвижно и беспомощно, и ни один хозяин парохода, ни один директор пароходного общества не мог сказать, сколько времени это еще продлится, какой ценою может прекратиться забастовка и из-за чего, вообще, вся эта каша заварилась и продолжается. Для коммерческого аппарата это положение невыносимо. Мы это ясно учитывали и крепились, чтоб не раскрыть наши карты раньше времени. Наш замысел был, в случае успеха нашей тактики молчания, принудить дирекцию Русского Общества стать орудием легализации стачки и созыва общего собрания бастующих моряков. Весь вопрос только в том, чтобы надлежащим образом прижать судовладельцев, а они уже нажмут нужную кнопку во дворце генерал-губернатора насчет разрешения.

[1] Штрафные суммы за задержки против установленного срока в морском транспортном деле.

Действительно, не успели курьеры в пароходных конторах оторвать на стенных календарях по семи дневных листочков, как понесся говор и шум по бульвару: в Русское Общество просят дать выборных. Полуиспуганный, полуобрадованный ворвался к нам дежуривший на бульваре гонец с задохнувшимся возгласом: «требуют выборных в Русское Общество!» Мы его погнали моментально обратно с директивой выделить из находящихся на бульваре моряков человек пять—шесть, первых попавшихся, и направить их к воротам правления Ропит'а, но, чтобы ни одна душа не совалась дальше, пока не получит указаний, как действовать.

— Понял, есть, — ответил, отирая с лица пот, наш гонец и пустился так вниз по лестнице, что чуть не вырвал на повороте перила, за которые держался в стремительном спуске.

Тем временем готовились и мы. Я снова, как в дни Ланжеронских возлежаний на травке, был обряжен в белый, блистающий чистотою, матросский костюм, снова завились флотские ленточки по плечам, и в сопровождении еще двух членов стачечного комитета двинулся к Русскому Обществу. Все другие остались «на развод» в случае, если наш визит в неприятельский лагерь закончится где-нибудь за решеткой. Но произведенная разведка показала, что полиции кругом нигде нет, ни явно, ни в тайной засаде. Подойдя к воротам, мы нашли уже выборных, ожидавших «указания», и вместо указаний получивших нас собственной персоной. Мы всей гурьбой немедленно вошли во двор и доложились к директору. Судя по тому, как быстро пред нами открылись двери директорского кабинета, видно было, что нас заждались. Поздоровавшись и ставши полукругом скромно и спокойно (хотя сердце, признаться, стучало у

всех), мы увидели перед собой директора и инспектора Одесского Правления Русского Общества. Помолчали мгновение, приглянулись друг к другу. Видя, что мы стоим спокойно и даже как-будто чуточку понуро, директор улыбнулся, с блеснувшей в глазах хитрецой, и начал:

— Я призвал вас сюда, как выборных...

— Вот мы и пришли, — ответил один из нас, — но прежде всего мы хотели б знать, в полной ли мы безопасности здесь у вас в кабинете.

— То-есть, как? — встрепенулся директор, — говорите яснее.

— Ну, чтобы сказать ясно, — поддержал другой, — так мы хотели бы услышать от вас, не работает ли где-нибудь телефон, уведомляя кого следует, что выборные пришли... случаи такие бывали.

— Я не провокатор, — резко ответил директор. — На улице, за пределами здания, я отвечать за вас не могу, а здесь я за вас отвечаю.

Мы не сказали, конечно, что на улице на два квартала кругом уж стоят наши сигнальщики, а выразили полное удовлетворение его заявлением, отметив, что «с честными людьми разговор один, а с провокаторами, как известно, поступают иначе», и что мы вполне деверяем его словам. Затем просили сообщить, зачем понадобились ему выборные.

— Я хочу, чтобы вы сообщили, какие ваши требования, из-за чего идет забастовка, а также, чтобы вы сообщили своим товарищам о моем положении. Начальство мое в Петербурге, вы здесь забастовали, ну, а мое-то положение между вами какое, что я могу поделать?!

«Эге, парень, так ты нас совсем за простачков считаешь. Ну, так и мы поставим ставку на простачков... Мы ответили, что наше дело темное,

маленькое, что мы первые попавшиеся люди, которых наскоро выпихнули, чтобы услышать, что от моряков хочет директор, что требований мы никаких не знаем и о них говорить не уполномочены. А что касается положения самого директора, то мы ему сочувствуем, но, как помочь из положения выйти, не знаем. «С нашим народом, сами знаете, разве сговоришься».

— Так, как же быть? — настаивал директор. — Как-нибудь из положения выходить надо, нельзя же так дальше.

Мы высказали смиренно предположение, что выход можно было бы найти, если бы приступить к правильным переговорам, но как к ним приступишь:

— Ни мы не имеем полномочий от команд, ни вы от своего правления в Петербурге... Ведь у вас нет полномочий на переговоры? — еще раз пытливо переспросили мы и, не получив ответа, прибавили:

— А без полномочий, что же разговаривать, только время терять.

Директор прищурился и усмехнулся.

— Ну, а если бы я имел полномочия, что тогда? Мог бы я с вами начать переговоры?

— С нами?! Мы же не имеем права, у нас нет полномочий.

— А кто же их имеет?

— Никто не имеет.

— Как никто не имеет! Это ерунда. Этого не может быть. Есть же у вас забастовочный комитет.

— Забастовочный комитет, — усмехнулись мы горько, — а кто его видел, тот забастовочный комитет. Если бы он был, разве он так вел бы дело, что все в потемках ходим. Забастовочный комитет первым делом пред'являет требования и начинает переговоры. Это, кажется, всем довольно известно.

— А это что же такое? — Директор вынул бумажечку, посланную нами в день начала забастовки. — Здесь подписано «Забастовочный комитет».

Мы хладнокровно пожали плечами: мало ли теперь анонимных бумажек пишут.

— Кто-то послал на смех письмо вам.

— Ну, так как же все-таки быть, а? Неужели никакого совета дать не можете? Вы же выборные, значит головы у вас должны быть, — пытался он сыграть на нашем самолюбии.

Мы поддались на удочку. Переглянулись, почесали кто за ухом, кто в затылке, переступили с ноги на ногу.

— Не иначе, как настоящих выборных вам сюда получить надо, господин директор, — нашел, наконец, один из нас исход.

— Каких еще настоящих?

— Таких настоящих, чтобы все бастующие собрались и формально уполномоченных выбрали и мандат им дали для переговоров и сказали им, что и какие требования должны быть.

Теперь переглянулись директор с инспектором. Потом директор прошелся взад и вперед по кабинету. Остановился у стола, оперся рукою и спросил:

— То-есть, другими словами, вы хотите, чтобы я устроил вам, забастовщикам, собрание... Ловко придумали ребята. Кто это у вас там такая голова?..

— Вот, вот, — простодушно обрадовались мы, — собрание это самое лучшее будет для вас и для нас. А без полномочий кто же разговаривать будет. Ни мы, ни кто другой не может.

— Но это от меня не зависит, — закипятился директор. — Это от властей зависит, от генерал-губернатора. Он не согласится.

— А вы походатайствуйте, посоветуйте ему,— многозначительно подчеркнул один из бульварных выборных. — Закрыл же он, по ходатайству Русского общества, Регистрацию, а уж такой пустяк, как собрание сделать по вашему ходатайству и подавно разрешит.

С этими словами мы стали собираться уходить. Два администратора быстро вполголоса обменялись несколькими словами.

— У нас нет другого выхода, — закончил эту быструю беседу директор, и, обратившись к нам, добавил:

— Передайте вашим товарищам, что я буду ходатайствовать о собрании, но если мне откажут— вина не моя.

— Покорнейше благодарим, — радостно гаркнула наша делегация. — Не откажут, им тоже тесно.

И мы вывалились гурьбой во двор и на улицу.

— Ну, товарищ Карл, — прощаясь говорили выборные с бульвара, — теперь мы видим, что дело в надежных руках. Пусть комитет работает, а мы подопрем.

И они понеслись по бульвару «подымать дух» у бастующих последними новостями, а мы также стремительно понеслись обсуждать новое создавшееся положение. В общем, денек выдался удачный, побывали в самой пасти противника и не только ушли целыми, но и разрешение на собрание чуть ли не в кармане унесли. Удачный денек. И весело было у нас в этот день за «двумя парами чаю» в «Медведе» под звон и грохот машины. Совсем не так, как накануне, на приунывшем заседании в пустой учительской комнате какой-то народной школы, приютившей нас на пару часов.

Сбылось все, как по волшебству, и через день ворота двора Управления Одесского Начальника Порта, раскрытые настежь, поглощали поток моряков — палубной и машинной команды и буфетной прислуги. Счетчики считали входящих и когда все собрались и сгрудились у каменного крылечка, обнесенного кирпичной, в пол роста человека, стеной, то забастовщиков оказалось три с лишним тысячи человек.

— Немного. — скажет может быть современный читатель, привыкший к большим тысячам советских демонстраций или участников экономических конфликтов в странах капитализма.

Да, немного было моряков, когда они все собрались, но немного и динамиту в пироксилиновой шашке, взрывающей на воздух тяжеловесные каменные быки прочно сбитого, тысячи пудов весящего железнодорожного моста. Главное, что они были здесь все налицо, почти поголовно, никто не остался на пароходах, никто не прятался за углами, чтобы тайком от товарищей предложить по тройной цене свои руки на рейс, не ходили толпами бастующие снимать с работы шкурников или неустойчивых, поддавшихся на уговоры и вернувшихся к работе.

Об этом именно раздумывал я, стоя на крыльце, опираясь локтями на его загородку и обводя глазами собравшихся и гудящих, как жуки, моряков. Меня почти никто не узнавал. Да и не мудрено, ибо я уже не был тем широкогрудым, усатым, лихим балтийским боцманом в безкозырке, каким видело меня последнее собрание на Ланжероне. Вместо него стоял на крылечке-трибуне во дворе начальника порта бритый, сутулый, безусый с кепкой-«джонкой» [1] на голове и в потертом, за-

[1] Моряки англичан называли „джонами", а их головной убор кепи—„джонками".

масленном пиджачишке не то кочегар, не то машинист, да и то не с хорошего пассажирского парохода Ропит'а или Российского Общества, а с какого-нибудь поганого «угольщика», только и видящего море, что между Одессой и Мариуполем.

Маскировка была хороша и два товарища из стачечного комитета так и прыснули сзади меня, услышав из толпы чей-то сердитый голос:

— А это что там еще за кочегар вылез на самый перед? Видно пьяный! Убрать его оттуда надо!

Только когда товарищ открыл собрание и предложил избрать председателя и дружная кучка голосов прокричала «Карла», а большинство, зная этого Карла лишь по наслышке, проголосовала за него по доверию к другим, за него стоявшим, я стянул с головы свою «джонку» и об'явился: поблагодарил несколько оторопевшее собрание за избрание и заверил товарища, требовавшего моего удаления, что я совершенно не пьян и надеюсь провести собрание в полном порядке и что удалять меня с трибуны, по-моему, совершенно не стоит. Хохотом, аплодисментами и веселыми шутливыми криками приветствовала аудитория это начало, и мы приступили к работе.

Уж раз дался нам в руки такой клад, как открытое общее собрание бастующих моряков, мы решили использовать его во-всю, до дна, и прочно закрепить снасти нашего корабля. Первым делом мы «приналтовили» накрепко стачечный комитет к бастующей массе, подвергнув его наново переизбранию.

Обсуждали команды кандидатуры основательно. Убрали одного за склонность к выпивке, другого — за «пужливый характер», заменили двумя другими, более надежными и крепкими. Проголосовали сначала по одиночке, потом всех вместе и закрепили двойным морским узлом, приняв постановление, что собрание избранному комитету верит, поручает вести забастовку, на всякие переговоры уполномачивает и поддерживать его всеми силами будет.

За выбором последовала «общая часть», относящаяся к обсуждению положения в целом, где дана была возможность выговориться всем о наболевших вопросах и произнести речи, выясняющие смысл и характер борьбы рабочего класса вообще и, в частности, значения данной забастовки, как части этой общей борьбы. Всего вместе вполне хватило на 3—4 часа, какие могла выдержать наша публика, стоявшая на ногах и не очень привыкшая шевелить мозгами целыми часами подряд. А после закрытия собрания делегация от нового избранного и подтвержденного забастовочного комитета предстала перед директором Русского Общества и с невинным видом закоренелых шантажистов заявила, что уполномоченные для переговоров действительно выбраны, но вести переговоры не могут, потому что требований собрание рассматривать и не начинало. Стало-быть нужно продолжить собрание и на завтра.

— На какого чорта мне ваши уполномоченные, если они ничего сказать не могут?! — ответил директор и сердито взялся за телефон, чтобы снестись с кем следует о разрешении продолжить собрание.

Собрание было продолжено и день и другой. За эти два дня подготовительная работа по выработке требований и переработке устава Регистрации была доложена и обстоятельно обсуждена бастующими. Все было по пунктам разжевано, подверглось критике, проголосовано и закреплено. Дело шло гладко и лишь по вопросу о разнице

жалования кочегаров и матросов возникли ревнивые разногласия. Кочегары требовали себе на 5 рублей больше, чем матросы.

— Почему так?! — обидчиво кричала палубная команда — Алешковцы, Голопристанцы, Херсонцы и Чигиринцы. — Почему они себя выше ставить хотят? Разве они больше нашего работают. У них и так день меньше.

— А потому, — кричали в ответ кочегары, — что полезь в кочегарку, да попарься с резаком у топки, особенно летом, так и узнаешь почему. Наш труд тяжельше, хоть день и короче.

— А пускай они постоят зимой вахту на палубе, когда ледяная волна откатывает и ветер с морозом дует! Они себе в это время у топки греются. Им летом труднее, а нам зимою.

— А вы... — кричали в свою очередь кочегары, разгорячась.

— А вы... — отвечали им матросы, горячась еще больше.

Собрание начинало становиться возбужденным.

— Это вечные препирательства, — об'яснили мне тем временем товарищи, — вопрос самолюбия заедает. Иной раз и до драки доходит.

Действительно, я видел, что этот вопрос может довести до междоусобной брани и сорвать единодушие. Пришлось произнести негодующую речь и стыдить, что из-за такого пустяка могут разгореться страсти и сорвать все дело. Пришлось указывать, что на нас рабочие всей России смотрят и особенно моряки других морей, и что они скажут об этих спорах, когда узнают и т. д. Когда спорящие стороны были вогнаны в надлежащий конфуз и перестали ворчать и препираться даже отрывками и вполголоса, я предложил решить вопрос так: разделиться — пусть каждая сторона сама оценит свой труд, не считаясь, будь это больше

или меньше, чем у другой стороны. И на чем каждая сторона постановит, другая примет без возражения и будет поддерживать. Мысль понравилась, как распутывающая затянувшийся узел собрания. Разделились, разошлись в стороны, шумели кочегары у себя, а матросы у себя, и пред'явили окончательные ставки свои каждый для себя, которые и вошли в список общих требований.

Ставки кочегаров оказались все-таки выше, чем у матросов, но спору уже не было: не век же на одном вопросе сидеть.

— Настояли-таки «духи» на своем, — кричала палубная команда, опуская руки после общего голосования всех ставок, но кричала на этот раз уже добродушно, с улыбками.

— Куда вам, «рогатым», до нас! На то мы и «духи», — отвечали кочегары, тоже смеясь.

После этого маленького семейного раздора дальше все шло как нельзя лучше. Когда все было до конца проработано и утверждено, я сказал в заключение:

— Товарищи, вы нас посылаете отстаивать эти требования. Мы будем стоять твердо, а будете ли вы стоять также твердо, не расползетесь ли в стороны, не сдадите?

— Будем держаться до последнего, — раздалось дружно в ответ.

— Хотя бы подыхать пришлось, — вскрикнуло разом несколько голосов в разных местах, — все равно будем держаться.

И гулом согласия покрыла толпа эти решительные голоса.

Я сорвал с головы свою «джонку», и, высоко ею взмахнув, закричал:

— Ну, так да здравствует, товарищи, борьба рабочего класса, да здравствует наша забастовка!

— Ура-а-а забастовке!! — загремело в ответ и

в воздухе мелькнули, как стая вспуганных голубей, фуражки, «джонки» и ленточки бескозырок собравшихся моряков.

———

Таким образом, стачка легализовалась и стала на твердую почву: требования были выяснены, решения приняты, выборы произведены. Каждый моряк, покидая собрание, знал, что общее дело вручено лицам, им самим выбранным. Воля и мысль бастующей массы слилась в одно. В лице «выборных» стачка получила официальное и полномочное представительство. Масса работы предстояла еще впереди, но пока все шло настолько удачно, что на будущее смотрели все с твердою надеждою.

Чувствуя себя подкованными на все четыре ноги, предстали после окончания собрания выборные перед директором Русского Общества и, наконец, открыли карты, изложив чего желают моряки и из-за чего сыр-бор загорелся. Прежде всего, открытие Регистрации, затем ряд требований об увеличении заработной платы, уменьшении рабочего дня, выплаты сверхурочных, изменения режима на пароходах и, наконец, уплата жалования за время забастовки.

Пред'являя на этот раз наши требования, мы отлично понимали, что о каком-нибудь немедленном соглашении на этой основе судовладельцы и думать не пожелают, не испытав всех средств нанести нам поражение. А, с другой стороны, несмотря на всю величину и об'ем наших требований, в них не было запроса. Они составлялись и проводились не с таким расчетом, чтобы запросить побольше, а затем скоренько сбавить и сговориться, а с тем, чтобы их провести, как целостную и единую систему, меняющую коренным образом всю обстановку службы и жизни команд на

судах, включая туда и вопросы приема и увольнения.

Мы поэтому нисколько не удивились, когда, выслушав пред'явленные требования, директор пожал плечами и не захотел ничего о них говорить. Они ему показались безбожной спекуляцией, забастовочным торгашеством, запросом вдесятеро против «настоящей цены», как на толкучке.

— Нет, нет. Вы это не серьезно, или вы несерьезные люди, — говорил он нетерпеливо, почти выпроваживая нас из своего кабинета.

Мы попытались указать, что это очень серьезно, что это решение собрания бастующих и твердое решение.

— Ну, что там собрание! Разве я не знаю, как это делается. Какие-нибудь горлодеры накричали, а остальные, как бараны, кричали за ними и поднимали руки: чем, мол, больше загнуть, тем лучше. Может быть, вы же сами их и подвинтили. Но только промахнетесь, господа. Мы моряков хорошо знаем: потолкутся на бульваре, пропьют деньжонки, да и придут, поклонятся. И вы же, выборные, с вашими требованиями в дураках останетесь.

Он насмешливо и сердито кивнул нам головой и мы довольно поспешно и с некоторым смущением, толкая друг друга у дверей, выкатились в переднюю, потом во двор и на улицу. Шагов пятьдесят отмерили молча. На углу приостановились.

— Ну, теперь засучивай рукава, да берись, как следует, — прервало молчание некое бородатое земноводное существо, проводящее жизнь свою то на земле грузчиком, то на воде моряком и обретавшееся в этот момент в составе стачечного комитета, в качестве одного из свеженспеченных выборных, — теперь дело на перелом пойдет, кто кого сломит, у кого спина скорее хряснет.

— Да-а! Дело завязалось серьезное, — медленно произнес Александр, задумчиво мерявший журавлиными шагами тротуар, и еще резче проступили скулы его худого, плотно обтянутого кожей, лица.

— Ну, так что такое? — горячо врезался пылкий немолодой армянин Боцоев, сверкая из-под полей черной шляпы карими глазами, на обрамленном короткой черной бородой смуглом лице.

— Ка-нэчно, дело серьезное. Но разве мы его не выдержим? Канэчно; выдержим. Настроение у наших хорошее, твердое. Я тоже знаю моряков не хуже этого бюрократа, директора. То, что он говорит, было верно три года тому назад, но не теперь. Теперь матросы и кочегары кой-чему научились, только он этого не заметил из своего директорского кабинета... Плевать я хотел на его речи, — закончил он неожиданно и действительно энергично сплюнул на камни.

Мы все рассмеялись, а горячий оратор прибавил:

— Канэчно, борьба будет трудна, я не говорю...

— Ну, трудная или легкая, а полезли в драку — не жалей волос, — сказал я, — главное, дух бодрый держать, а там посмотрим, кто кого.

— Вот это верно, — отозвался старый кочегар Яша Вехов. — В нашем деле бодрый дух, что пар в котлах. Держишь пар в котлах, и машина вертится; пар упустил, и машина стоп. Держи, пар, товарищи...

Мы снова двинулись, завернув за угол, направо.

— Так, держим пар? Держим пар! — накрест перекликнулись мы через несколько минут, расставаясь и пожимая друг другу руки на виду бульвара и, кивнув туда головами, прибавили:

— Главное, чтобы там пар держали. Будет там пар, будет и у нас.

На бульваре нашу кучку заметили и, приветствуя, несколько рук взмахнуло фуражками. Без замедления к нам направилась «связь» за новостями. Один из нас остался информировать о свидании с директором, а остальные сейчас же растаяли.

Быстро из уст в уста пронеслась весть, что Русское Общество и разговаривать с выборными не захотело, когда услышало, что требуют открытия Регистрации. Сильно и глубоко задела коллективное сомолюбие надежда противника на то, что моряки «деньжонки пропьют и придут поклониться». Вся корпорация отлично знала и чувствовала, что в пункте, касающемся выпивки, действительно, слабое место у моряков, и тем более задели за живое слова директора Ропит'а. Действие эта вызывающая фраза вызвала самое благодетельное:

— Долго же придется ждать им, чтобы мы пришли поклониться. А пьяных не видели и не увидят.

А некоторые сумрачные голоса добавляли:

— Скорей пароходы у них в щепы разлетятся, чем мы придем кланяться им.

Тем самым было осознано все положение, особенно то, что борьба будет не только упорная, но, главное, и длительная. На это все и настроились, начиная со стачечного комитета, который снова залез в подполье, перекрасился и законспирировался, так как бить должны были, прежде всего, по «штабу», а он на этот раз всем известен поименно и точно, за исключением одного меня, который «Карлом», неизвестным моряком балтийского флота, так и остался и в стачечный комитет был перезбран и подтвержден под этой фирмой. Отныне моряки запаслись терпением и экономией в своих и без того скудных расходах

Встречаясь по утру на бульваре, приятели перебрасывались лаконическими приветствиями и коротенькой информацией:

— Ну, как наш вояж? — спрашивал матрос-рулевой рулевого.

— Вояж длинный, курс прежний.

— Лежим на курсе?

— Лежим на курсе. Так — держать?

— Так, держать! — эхом отвечал другой и расходились, как в море корабли, поговорившие при встрече в рупор.

— Ну, как? — говорил в то же время кочегар кочегару.

— Держим пар... порта не видно, — слышалось в ответ.

— Значит, шевели на 12 узлов?

— Шевели, подсыпай!.. Хватит на всю вахту с гаком, — и тоже расходились.

Тем временем зашевелились судовладельцы. Собственно говоря, в этот период в судовладельческом лагере вся инициатива была в руках «Русского Общества». Остальные, как маломощные, только смотрели на него и равнялись по нему, избегая каким-либо шагом ослабить позицию этого Голиафа, главнейшего чемпиона своих рядов.

Нельзя сказать, чтобы меры, принимаемые судовладельцами, в частности, «Русским Обществом», блистали новизной или оригинальностью: расчет, угроза передать паспорта в полицию, туманные обещания уступок, «если станете на работу», и распускание, через преданных агентов, темных слухов, отдающих слегка провокацией, — вот все, что они могли придумать. В переговоры вступать они не проявляли ни малейшей склонности.

Немалый переполох в наших рядах произвело вскоре об'явление, вывешенное Ропит'ом об отходе

в определенный день в рейс одного из пассажирских пароходов, давно ждущих выхода в море с грузом и пассажирами, разместившимися в ожидании в гостиницах города.

— Где они возьмут команду? — гудели на бульваре и по углам на перекрестках моряки. — Неужели среди наших нашлись такие негодяи, что пропились и тайком пошли кланяться директору, как он говорил. Надо вызнать.

И с утра того дня, в который был назначен отход парохода, уже вертелись, как ищейки, наиболее ловкие ребята около парохода, норовя высмотреть, кто пойдет в этот рейс с пароходом, — свои или чужие и, если свои, то кто именно. А все остальные бастующие расположились над портом, наверху, на наблюдательных постах, с физиономиями, как флюгера, крутым ветром повернутые в сторону назначенного в рейс парохода, и чуть ли не щелкая с досады зубами, как волки, усевшиеся вокруг дерева, куда скрылся недоступный их зубам и когтям пока враг. И, действительно, я думаю, моряки буквально завыли бы от злости, если бы пароход снялся в то утро. Но он не отдал концов в назначенный час. Не снялся он ни утром, ни к вечеру, ни на другой какой-либо день. Об'явление Ропит'а оказалось чистейшей уткой, рассчитанной на внесение паники в ряды бастующих, которые к тому времени, по рассчетам, должны были уже пропиться и быть готовы кинуться на перебой предлагать себя для об'явленного в рейс парохода.

Этим был отмечен момент, когда была перейдена первая черта, связанная с расчетом судовладельцев на пропой забастовки командами.

Дни шли дальше, положение не изменялось. Лишь лица бастующих становились угрюмее и решительнее.

— Не дождались, что пропьемся, так голодом хотят взять. Просчитаются и здесь, — и кулаки сжимались, как для удара. Прошло немного времени, и вот снова появилось об'явление Ропит'а о предстоящем отходе пароходов.

— Пугают! Слыхали. Без команды не уйдут! — презрительно отозвались моряки на это извещение.

Но уже на другой день шел снова переполох по бульвару и в стачечном комитете: на Днепре набирают штрейкбрехерские команды, чтобы везти их в Одессу.

По наведенным в главной конторе Ропит'а справкам через верных людей, сообщение оказалось не ложным: действительно, набирают и собираются везти с Днепра. Трудно сказать, сколько раз икнули собиравшиеся ехать в Одессу ломать забастовку «проклятые лягушатники» — как с незапамятных времен именовали, под сердитую руку, моряки речников — но надо думать, что искать им пришлось не мало, так как поминали их и, особенно, их родителей бастующие непрестанно, не делая даже перерыва на обед, какой полагается при всякой работе.

Комитет спешно мобилизовал надлежащие кадры оборотистых хлопцев и бросил их навстречу опасности: надо было попытаться, прежде всего, разложить завербованных, т.-е. раскрыть им глаза на то, как их хотят использовать, если они обмануты, и пробудить чувство солидарности, если они соблазнены. Очень мало времени прошло, а уже самые завзятые и решительные забастовщики-моряки с самым «речным» видом завербовались на Днепре «ехать на забастовку» и повели свою работу среди днепровцев. Не малый процент их попал в лапы полиции и пошел колесить по этапам и пересыльным тюрьмам куда-нибудь «на высылку», но дело было на три четверти сделано: днепровцы

стали дезертировать, уклоняться, приток новых совсем ослабел, а оставшиеся пришли в значительную шаткость по настроению. Остальная четверть дела была доделана на самых берегах Черного моря. Комитету этой части даже и обсуждать не пришлось — все прошло в порядке массовой самодеятельности и инициативы. Тех из прибывших, кто еще доступен был словесному убеждению, уговорили словесно. Менее поворотливые и восприимчивые к словесным убеждениям испытали без замедления силу других, более увесистых и материальных, аргументов. Покряхтывая и почесываясь, пришли они довольно скоро и твердо к тому убеждению, что ломать чужую забастовку, даже и за хорошие деньги, которые к тому же еще только сулились, не дело, не хорошо, не по-товарищески, и отказались от такой затеи. Более упорные и злостные успокоились на месте, потеряв несколько внутренностей или вернулись полуживые домой, с наскоро зашитыми животами. Одним словом, как всякий легко догадается, назначенные к отходу пароходы снова в море не вышли: команд не оказалось, несмотря на успешно, как-будто, проведенную вербовочную кампанию на Днепре.

Когда происшедшее стало предметом обсуждения и зашли разговоры — допустим ли террор в нашей забастовке, то это вызвало даже удивление.

— Причем тут террор? Вот если бы мы взялись за бомбы и револьверы, да ухлопали кого-нибудь из пароходной администрации или из правления это был бы террор. А тут: ты мне гадишь, ну и получай по башке. Это совсем не террор.

На этом дискуссия вся и закончилась.

Таким обарзом, забастовка продолжалась уже почти три недели, и все попрежнему конца не было видно. Нужно знать моряка, вечно подвижного, вечно занятого, вечно себе находящего какую-ни-

будь самую спешную очередную работу, чтобы представить, как давило на бастующих состояние вынужденного безделья и, главное, неизвестность, когда и как оно может кончиться. Настроение начинало портиться, и много скверных признаков говорило о начинающемся шатании в массе. Усилились всякие толки и слухи о забастовочном комитете, распространяемые и поддерживаемые, конечно, враждебной агентурою, но находящие легко сочувственное ухо в бастующей массе.

Говорилось, что забастовочный комитет сидит и бездействует, так как ему все равно, чем кончится забастовка, лишь бы моряков подольше на берегу подержать, да дать возможность партийным организациям вести пропаганду и агитацию. Говорилось о жаловании, получаемом членами забастовочного комитета из стачечного фонда, хотя из него они получали на пропитание по общей норме 10 копеек в день, да и то не все; кто мог кормиться на стороне у «сочувствующих», тот к деньгам не прикасался. Говорилось также, что за кулисами мы уже стакнулись с судовладельцами и продали дело, а тянем лишь, чтобы истомить моряков и тем успешнее сорвать в нужный момент успех забастовки.

Ну и многое другое, подобное этому.

Мы в стачечном комитете были отлично осведомлены обо всех этих настроениях, но бороться с ними не могли, будучи отрезаны от прямого, личного общения с массой нашей законспирированностью... Поганое состояние, когда под ногами начинает попахивать гарью, а тушить нечем. Чувствовали себя в эти дни мы не особенно весело.

И вдруг, освежающим ветерком среди мертвого штиля пронеслась весть о том, что из Петербурга едет специально командированный чиновник министерства торговли и промышленности, чтобы ула-

дить конфликт. Встрепенулись моряки при мысли, что близок конец томительной бездеятельности и что забастовка, с приездом чиновника, благополучно закончится.

Действительно, столичный чиновный гость — коллежский, статский или еще какой-то там советник — господин Веселаго — прибыл в Одессу. Он неизвестности. Но, явившись к нему, мы и виду не подали, как он нам нужен, а запели все того же энергично принялся за дело и немедленно собрал всех заинтересованных в забастовке судовладельцев и потолковал прежде с ними. До сих пор они твердо стояли на одном: никаких переговоров, сначала становитесь на работу, а потом будем разговаривать. Но раз правительство, в лице министерства торговли и промышленности, предлагает посредничество, то, конечно, они не могут его отклонить, они согласны встретиться с представителями бастующих, но только обязательно в присутствии прибывшего посредника из министерства.

После этого он пощупал нас. По правде говоря, мы готовы были за него зубами уцепиться, чтобы залучить судовладельцев на переговоры. Ибо переговоры, каков бы ни был их результат, есть какой-то шаг, какое-то действие, какое-то движение вперед, а не застойная мертвечина бездействия и неизвестности. Но, явившись к нему, мы и виду не подали, как он нам нужен, а запели все того же шантажного Лазаря: что встретиться с судовладельцами мы, конечно, можем, но это дело будет довольно бесплодно, т. к. наши требования категорически были отвергнуты в корне судовладельцами, а нам они три недели почти назад категорически преподаны к обязательному руководству собранием забастовавших команд. Теперь, конечно, может быть настроение значительно изменилось, но мы не можем этого учесть и только на общем собрании бастующих возможно выяснить.

будут ли команды стоять на прежних требованиях или их уменьшат и изменят.

Маневр и на этот раз удался, ибо чиновник увидел, что, не дав нам собрания, ему не придется свести нас с судовладельцами, а уехать, не добившись даже этого, значило бы позорно провалиться. Он же приехал делать карьеру на ликвидации этой, вызвавшей уже не местное, а общероссийское внимание, забастовки. Для этого его и выбирали среди других в министерстве — знающего, толкового, авторитетного и речистого либерального чиновника времен первой Государственной Думы.

Собрание мы живо соорудили на том же месте — дворе Управления Начальника Порта — в присутствии присланного для наблюдения какого-то мелкого чинуши из градоначальства.

На этом собрании мы снова основательно прощупали состояние духа бастующих моряков, не взгоняя его агитационными речами, как тесто на дрожжах. Надо было просто и трезво уяснить, сколько пороху еще осталось в запасе, сколько действительной воли к борьбе после того, как длительность и тяжесть ее значительно превысили первоначальные расчеты и ожидания. И мы с достоверностью установили, что в массе своей бастующие твердо стоят на боевой линии и не обнаруживают не только каких-либо поползновений к ее прекращению, но даже не мыслят об уменьшении или ослаблении программы требований, выработанной в начале выступления. С этой стороны дело обстояло твердо.

Но я не удовольствовался этим, а воспользовавшись случаем, решил выбить почву из-под всякого рода заподозреваний в отношении действий стачечного комитета, могущих возникнуть и возникающих на почве нашей вынужденной оторванности и стихийной массовой недоверчивости, питаемой к тому же несомненными злыми наветами враждебных сил.

В особенности, в момент намечающихся переговоров легко было бы играть на том, что «выборные, запершись с судовладельцами и петербургским чиновником, продают судьбу моряков и забастовку за закрытыми дверьми». Такого рода слушок, опережая события, уже полз со змеиным шипением по земле.

Чтобы вернее достигнуть цели, я оглушил моряков с этого, именно, пункта и начав свою речь, после того, как прежние требования были наново подтверждены и проголосованы, заявил напрямик, что, мол, все это хорошо, но где же у вас, товарищи, гарантия в том, что ваши указания и постановления будут проводиться именно так, как вы хотите и как голосуете.

— Все дело построено на одном доверии. Но если возникнут у вас сомнения насчет наших действий, или если завтра, когда вы разойдетесь, вам по одиночке начнут зудеть в уши, что стачечный комитет не надежен, чем будете вы разбивать сомнения и опровергать наушников? Вам крыть нечем. Вот мне, например, как председателю стачечного комитета, вы отдали в руки можно сказать наполовину судьбу забастовки, а ведь вы даже хорошо не знаете, кто я, что я, какие побуждения мною руководят и что я предприму в следующую минуту. Я человек новый, вам неизвестный — где гарантия, что в переговорах с министерским чиновником я не сдам или не продам?

Эти простые и жесткие слова впечатление произвели колоссальное. Были высказаны открыто мысли, которые несомненно мелькали, хотя бы самым затаенным образом, в различные моменты в душе у девяти десятых присутствующих здесь

сейчас моряков, мысли, которые уже в наиболее паническихи склонных к злому неверию кружках раздавались вслух за истекшее время. Сейчас это было громко пред'явлено всенародно, и настоящий, неподдельный страх отразился на лицах замерших рядов, вперившихв меня испуганные и растерянные глаза: «да, действительно, какой-то неизвестный, чужой, непонятно как затесался и держит в руках дело и вертит забастовкой и нашей судьбою и... где гарантия?».

И чтобы никаких сомнений не было, я тут же и закрепил:

— Такой гарантии у вас нет товарищи. Вы вынуждены нам верить вслепую.

Какой-то одинокий голос воскликнул: «Мы верим вам», — и потонул в ошеломленном молчании толпы, продолжающей смотреть на меня во все глаза, чувствуя, что я еще не кончил.

Сзади меня дернули за фалду две руки двух товарищей, а третий, не совсем решивши вопрос, пьян я или спятил, внезапно наклонился к уху и прошипел:

— Что вы делаете, Карл? У нас положение и так довольно шаткое, вы провалите все наше дело.

Но я отмахнулся и продолжал:

— А потому, товарищи, нас нужно взять под контроль, под строжайший контроль. Нужно, чтобы вы следили за нами не только тогда, когда мы здесь даем вам отчет о наших действиях, нужно, чтобы ваши глаза и уши шли за нами и были с нами, когда закроются двери того места, где будут вестись переговоры, а вы останетесь за этими дверями. А потому пусть каждая сотня из вас выберет одного человека и приставит к нам для надзора. Мы, десять, будем вести переговоры, а они, сорок, пусть смотрят,

слушают и вам сообщают. Тогда вы будете не просто верить, а знать, как мы ведем дело, и с чистой совестью сможете бить по голове того, кто попробует заронить подозрение относительно стачечного комитета и забить клин между вами и нами.

Просветлели и заулыбались окаменевшие лица, замахали руками, что-то наскоро доказывая сосед соседу, и веером раздвинулась, сбившаяся в комок толпа, разбиваясь на сотни выбирать «глаза и уши». С поспешностью спуска шлюпок с находящегося в опасности корабля были проделаны эти выборы и «контрольная полусотня» выстроилась перед возвышением, чтобы получить голосованием утверждение и точные указания, что она должна делать. Инструкции были просты: с комитетом ходить на переговоры, слушать и не вмешиваться, а с выбравшей сотнею держать связь и сообщать обо всем, что мы делали.

— Тогда всяким глупым разговорам и подвохам будет конец, — говорили команды, утверждая эту инструкцию.

С собрания мы ушли, чувствуя себя не только подкованными, а прямо закованными в непроницаемую броню. Этот «надзор» создавал такое звено между забастовочным комитетом и бастующей массой, что никакая ржа провокационных махинаций не могла его пошатнуть во все остальное течение стачки.

На другой день состоялась долгожданная встреча с судовладельцами. Председательствовал приезжий арбитр из Петербурга, состряпавший это свидание. Здесь мы впервые имели перед собою не одно Русское Общество, а весь судовладельческий синклит от малых ершей до больших зубастых щук. Почтенное собрание несколько перетревожилось, когда, вместо полудюжины выборных, зал

собрания наполнился тяжелым топотом доброй сотни ног, не привыкших к паркетным полам и легкой салонной походке. На счастье дело происходило в помещении каких-то курсов и скамеек для всех пришедших хватило. Мы уселись скромненько и учтиво на передних скамьях, а сзади нас подперли ряды наших «контрелеров», из которых ни один не отстал и все были в сборе, даже тот разнесчастный, у которого как-раз в этот день сверлил зуб и стреляло от боли в ухе — и тот, с перевязанной платком заячьей физиономией, морщась и держась рукой за щеку, все же занял свой пост. Председательствующий по правительственной благодати господин Веселаго заметил было несколько растерянно, что при таком большом количестве участников трудно будет вести совещание в порядке. Но мы, с своей стороны, заверили, что у нас порядок будет самый образцовый, не открывая, конечно, секрета, что собственно участников-то у нас будет меньше десятка, а остальные лишь зрители и наблюдатели.

Отдавая дань дипломатическому лицемерию, а может быть и искренне надеясь провести нас, как молодых воробышков, на мякине елейной словесности, председательствующий чиновник и ораторы судовладельцы повели речи о «взаимном доверии» и решении всех спорных вопросов на почве этого доверия. Мы холодно и решительно отвергли эту платформу, выдвигая точку зрения недоверия, которое, естественно должно быть у сторон ведущих борьбу, а ведь мы в разгаре именно борьбы, а не чего другого. Затем сразу обнаружился истинный характер фраз о доверии, когда зашла, наконец, практически речь о требованиях моряков.

Нельзя сказать, чтобы в поведении судовладельцев сквозила нерешительность, и они ринулись в контр-атаку, быстро сформировав свои условия,

которые гласили: 1) немедленно стать на работу, 2) увеличить рабочий день на 2 часа, вместо требуемого сокращения на три часа и 3) прибавка жалования по такому хитроумному расчету, чтобы оплатить как раз 2 прибавляемых часа рабочего дня.

Так говорили судовладельцы на 23-й день забастовки. Мы, с своей стороны, выставили 10 важнейших, уже ранее заявленных, требований, среди них, в первую голову — открытие Регистрации. Ясно, что при таких позициях стороны сговориться не могли и переговоры на этом прервались.

Однако, департаментский чиновник не считал себя окончательно побитым и свою игру проигранной. Твердо держась канцелярской теории о том, что все забастовки и тому подобные «беспорядки» являются исключительно результатом зловредной деятельности разных «зачинщиков и подстрекателей» и видя именно в нас этих самых злоумышленных подстрекателей, он решил выйти в поле самолично и аппелировать непосредственно к массам. Вследствие такой его отваги мы в один из ближайших дней имели снова собрание бастующих команд, уже не разрешенное, а созванное столичным чиновным гостем. Нечего и говорить, что бастующий моряк повалил в ворота Портового Управления густо, как селдь во время улова, да к морякам подбавилось и всякого иного портового люда — грузчиков, рабочих судоремонтных мастерских и других, привлеченных таким, не совсем обычным, ходом событий.

Разумеется, и мы, члены стачечного комитета, от других не отстали и своевременно протиснулись к каменному крылечку, служившему ораторской трибуной.

Не помню уж как это случилось, — то ли мы энергичным ходом захватили инициативу в свои

руки, то ли господин Веселаго предпочел посмотреть, как мы будем действовать, чтобы потом самому сообразоваться с нашей тактикой в своем выступлении, но факт тот, что первое слово имел я, выступив, как председатель стачечного комитета. Я был очень скуп и сух и, давая отчет относительно первой встречи с противной стороною, коротко изложил ход заседания и его результат. Когда я указал, что разговаривать стало невозможно, как только выяснилось, что судовладельцы требуют увеличения рабочего дня, в то время, как мы требуем его уменьшения, гул возмущения волною прошел по толпе. Ограничившись только изложением фактов, я умолк, добавив, что присланный из министерства специальный уполномоченный сейчас выступит по поводу нашей стачки. У наших забастовщиков, разумеется, и ушки на макушке.

Как и надо было предвидеть, оратор из департамента пустился в область высоких слов и материй. Нельзя же людям, борющимся и голодающим, просто сказать, что они должны принести себя в жертву интересам судовладельцев-капиталистов. Поэтому на сцену вышли интересы родины, интересы населения Черноморского побережья, интересы крестьянства внутри страны, страдающего от нашей забастовки, и тому подобные вещи. Моряки призывались подумать о том, что их маленькая кучка, во имя своих интересов, заставляет страдать столько народу и расстраивает экономическую жизнь целой страны. А потому они призывались отказаться от невыполнимых требований и ликвидировать забастовку.

Говорил этот будущий губернатор очень не плохо и с настоящим под'емом, так что вынужден был снять свою синего сукна чиновничью

фуражку и вытирать платком пот со лба. Каюсь, когда эта, еще совершенно новенькая, фуражка оказалась на каменных перилах рядом с моей рукой, я не удержался от озорства, и в тот момент, когда ее владелец, перегнувшись через перила и простерши длань над толпою, потрясал ею, описывая горе и озлобление крестьян от нашей забастовки, я очень легонько и выразительно пощелкал пальцем по кокарде этой фуражки на глазах у всей аудитории, что означало приблизительно: чин, мол, имеет и новый чин зарабатывает.

Переведя затем взгляд на моряков, я увидел сплошь лица, сдерживающие улыбку, и не одна пара глаз, встретясь с моими, лукаво и хитро подмигнула в ответ. И я понял, что мой маленький жест убил девять десятых эффекта ораторских стараний нашего конкурента, пытающегося повлиять на моряков.

Когда он кончил, все ждали, и он ждал ответа с нашей стороны, со стороны стачечного комитета. Но мы молчали, мы хотели выдубить шкуру этого бюрократа, позарившегося на карьеру митингового оратора, и вколотить в его голову, что масса имеет свою волю и хочет бороться и отстаивать свои требования, и вколотить это так, чтобы он до самого Петербурга, до департаментских канцелярий своего начальства об этом ни на секунду не забыл.

Поэтому я предложил высказаться желающим из среды самих бастующих. Аудитория встрепенулась, но замялась: не так то легко, выйдя из кочегарки, пуститься в дискуссию с ученым большим столичным начальством. Я понукал нерешительных, тогда набрались духу и выступили. Моряк не речист, но хитер, как дьявол, и умеет, когда надо, ущемить с простодушным видом за самое слабое место. Первый же оратор из массы поста-

вил все дело на надлежащую точку не длинной речью, а коротким и до нельзя учтивым вопросом:

— Товарищ председатель, — сказал он, обращаясь ко мне, — я хотел бы, чтобы вы спросили у господина уполномоченного от министерства, судовладельцам они насчет отечества, крестьян и всего остального тоже говорили, или только одним нам, бастующим командам?

Я с такой же учтивостью изогнулся в сторону департаментского оратора, выражая собою самый явственный и настоятельный знак вопроса, требующий безотлагательного ответа.

Чиновник передернулся, но, не теряя самообладания, тотчас же ответил, что по долгу службы родине и правительству он говорил и судовладельцам то же, что и нам, но безрезультатно.

Тогда несколько голосов один за другим прокричали, что если судовладельцы не хотят уступать ничего во имя родины из своих кошельков, то как же можно требовать жертвы с голых рабочих, у которых нет ничего, кроме шкуры и рук.

После этого выступило сразу несколько и, потрясая себя кто за рукав рубашки, кто за полу замасленного синего куртика и призывая во свидетели соседей, рядом сидящих, заявляли, что уже все вещи, какие были, заложены, проданы и проедены, что они поснимают и то, что на теле еще задержалось и продадут и останутся голыми, голодать будут, а на своем будут стоять, и «алчным драконам с толстыми кошельками» не уступят. И так как это было покрыто согласными криками и дружным одобрением всех бывших здесь на лицо, то петербургскому чиновнику ничего не оставалось, как взяться за фуражку. Но мы его так легко не отпустили. Теперь, когда он воочию увидел, чем дышет эта масса, которую он считал

слепым стадом, идущим за вожаками, теперь мы заставили его выслушать наши ответные речи. Вся его аргументация подверглась политическому анализу и освещению, в особенности—в той части, которая относилась к государству, его роли и интересам. Присутствующий посланец от министерства и его выступление было редкой наглядной иллюстрацией к марксистскому учению о роли правительства и государства в классовом обществе.

Выдержав эту баню, залетный гость надел фуражку и довольно пониженным тоном заявил:

— Я сделал все, что возможно, но обе стороны непримиримы. Я ничего больше поделать не могу. Прощайте.

— Счастливого пути! — двусмысленно и дружно ответила аудитория.

В тот же день подведен был насмешливый итог всей этой истории с петербургским посредничеством.

— Приехал Веселый, а уедет Грустный, — говорили моряки на бульваре, сопровождая эту игру слов разными замысловатыми шутками и прибаутками.

———

Чиновник действительно уехал, а мы снова остались один на один с судовладельцами. Теперь стало ясно, что сговориться нет никакой надежды: борьба должна закончиться полной победой одной из сторон. Дело пошло в затяжную. Боевое настроение стачечников после всех собраний прочно закрепилось, денежная помощь от рабочих города Одессы поступала в достаточном количестве, микроб подозрительности был убит безвозвратно. Бульварная жизнь бастующих шла своим порядком.

Прошло еще две недели, отмеченные тем лишь, что зацапали нескольких человек из стачечного комитета, не выдержавших подпольного карантина и рискнувших пробраться домой переночевать, да не малое количество других, подозреваемых в причастности к руководству забастовкой.

Закончилась пятая неделя, и в рядах противников обнаружилась снова энергичная деятельность: забастовку решили сломить во что бы то ни стало. Первым и на этот раз выступило Русское Общество, вывесивши снова, в третий раз, об'явление о том, что готовятся к отходу два из числа самых больших пароходов этого общества. Сначала мы подумали было, что это все та же известная утка, что и на этот раз пустой угрозой дирекция пытается «взять на пушку» бастующие команды. Но мы ошиблись. К назначенному дню в порт привезены были военные моряки из Севастополя и в назначенный день пароходы вышли действительно в море. Целая буря ярости пронеслась по бульвару и настроение круто изменилось: из мирно выжидательного оно превратилось в агрессивное и боевое. В воздухе запахло грозой, запахло порохом в буквальном смысле. Глядя на выходящие в море два парохода и ожидая, что за ними последуют еще и другие, передовой актив бастующих справедливо наполнился тревогой, что это внесет разложение в среду неустойчивых элементов бастующей массы, достаточно истомленной, затянувшейся борьбой. Привлечение военных моряков в качестве штрейкбрехерской силы было воспринято, как сигнал к борьбе всеми средствами и способами, и вопрос о террористических актах— о бомбах и револьверах — сам собою стал в порядок дня. Группки боевых и непреклонных моряков поставили его на обсуждение, исходя из того соображения, что «не можем же мы сидеть

сложа руки и смотреть, как у нас под носом выводят в море пароходы».

Тактика массовой дисциплины, выдержки, солидарности и настойчивости признавалась несомненно хорошей, «настоящей» до известного предела. Теперь этот предел наступил: при наличии вмешательства в забастовку военных моряков, применявшаяся до того тактика, очевидно, давала осечку.

Таков был новый ход мысли, наметившийся в массе, а анархистская и анархо-эсеровская идеология подвела немедленно фундамент под эти настроения.

Мы в стачечном комитете чувствовали, что поворот настроения грозит вырвать из наших рук руководство, которое перейдет к какой-нибудь энергичной инициативной группе «активистов», уже сидящих где-нибудь под кустами, подобно нам в начале забастовки, и вырабатывающих план действий и свои «решительные меры». Слухи об этом шли к нам самые настойчивые. Задача, ставившаяся на разрешение в этих группах, сводилась к тому, чтобы вывести из строя первый же назначенный к отходу пароход, подорвавши его в момент отхода, с грузом и пассажирами.

Трудно сказать, во что вылилась бы наша забастовка, если бы она вступила действительно в эту стадию борьбы. Несомненно только, что окончиться успехом для моряков, при таком повороте, она не могла, так как единоборство моряков со всем полицейским и военным аппаратом репрессий, который, конечно, был бы приведен в движение таким поворотом событий, могло окончиться только разгромом моряков. Наши шансы на выигрыш заключались в выдержке. Было совершенно ясно, что при помощи военных моряков можно вывести в рейс несколько пароходов, но нельзя восстановить

нормального движения, так как нельзя взять 3.000 военных моряков со службы и сделать их торговыми моряками. Значит, все сводилось к тому лишь, чтобы не поддаваться впечатлению, выдержать эту провокационную уловку и не дать повода разгромить забастовку репрессиями. Такова была платформа, выдвинутая стачечным комитетом в противовес планам горячих голов и «решительных мер».

На бульваре и его склонах, закипела ожесточенная борьба мнений по вопросы — как быть, и сказать, что в конце концов взяло бы перевес, очень трудно. Но тем временем уже успели сказаться результаты опыта с военными моряками. Плачевное получилось плавание у пароходов, вышедших в море с военными командами. Сколько в этом была виновата неприспособленность военных моряков, которые привыкли иметь дело с машинами иной конструкции и работать вообще по-иному, чем это принято на судах торгового флота, пусть судят специалисты. Но мы скоро узнали, что гневом бились сердца у подневольных рабов «царского величества», когда своими руками они должны были срывать забастовку борющихся братьев. И от жара сердец их горели и плавились подшипники в машинах, горели и лопались трубки в котлах, насосы гнали воду навыворот, руль плохо слушался штурвала, отчего пароход наваливался на пристань или на соседнее судно, продавливая бок свой или чужой... Одним словом, когда в правлении Русского Общества собрали все телеграммы с рейсов от капитанов и агентов и прикинули на счетах приблизительно, во что обойдется эта игрушка с военными командами, итог сразу показал, что баловаться довольно. И в то время, как в самом разгаре был спор, «рвать или не рвать пароходы», и кое-где дело доходило уж на этой

почве до серьезных потасовок, неожиданно главный наш противник спустил свой флаг: на дверях Русского Общества появилось об'явление с перечислением экономических уступок, на основе которых командам предлагалось прекратить забастовку.

Это был 40-ой день нашей стачки. Моряки толпой стояли у об'явления и изучали его, а изучив заключали:

— Если бы ко всему этому приписали внизу, что дают Регистрацию, то и на пароходы итти можно было бы.

Действительно, лишь только взглянули мы в стачечном комитете на представленную нам, наспех снятую, копию об'явления, как мы увидели, что вся экономическая часть наших требований в них заключается. Даже уплата за время забастовки была на месте, хотя и в половинчатом размере — грех, мол, пополам. Не хватало только Регистрации. Я обвел вопросительным взглядом товарищей.

— Брешут. Дадут! — сказало бородатое земноводное существо, решительно берясь за фуражку.

— Дадут, — кивнули другие, тоже нахлобучивая на голову, кто что имел.

Мы зашагали в контору Русского Общества, подбирая на ходу тех из «контрольной полусотни», какие нам подвернулись по дороге. Шагали мы быстро и бодро. Встречные моряки, возвращаясь после прочтения об'явления, поспешно уступали нам дорогу, приветствовали и кричали в догонку:

— Смотрите, без Регистрации не возвращайтесь!

В Правлении Русского Общества дело сладилось в три минуты. Тотчас же по прибытии мы заявили, что экономические уступки лишь половина дела и при этом меньшая, вторая же и главнейшая—Регистрация. Без Регистрации ни один моряк

не ступит с берега на пароход. Нам ответили, что в принципе согласны, но нужно обсудить, а это дело затяжное. На это мы вытащили проект Устава и, похлопав им по столу, сказали, что если стороны хотят действительно сговориться, то разработанный проект позволит это сделать самое большее в 3 дня, а если не намерены, то и в три месяца не сговорятся...

В тот же день вечером начались официальные заседания стачечного комитета с Дирекцией Русского и Российского Общества по выработке соглашения в присутствии товарищей, избранных для надзора за действиями стачечного комитета во время переговоров. Через них все перипетии наших заседаний становились тотчас же известными бастующей массе и даже ее отношение к тем или другим, вызывающим у нас сомнение, пунктам. Не раз случалось, что к нам в передний ряд поступала записка по поводу какой-нибудь спорной детали, примерно такого содержания: «Кочегары на бульваре говорят, чтобы на счет штивки угля ни за что не уступать, а о том, когда убирать из машин мусор, можно уступить». Сидели мы над пунктами договора и Регистрации упорно, но дело действительно сделали в течение трех дней. На 43-й день утром директор Русского Общества приехал от генерал-губернатора и привез экземпляр устава Регистрации, на котором сверху в углу четко написанная помечена была резолюция: «На изложенных в этом уставе основаниях Регистрацию разрешаю. Генерал-губернатор Карангозов».

При этом, как рассказывал директор, дело не обошлось без курьезов. Прочитав подписи представителей моряков под соглашением, генерал-лейтенант подскочил и воскликнул:

— Позвольте! Где же они были? Ведь это стачечный комитет. Я в последние дни всю Одессу

перевернул, их разыскивая. Я имею сведения, что готовились взрывы пароходов. —

— Плохо искали, — с'язвил директор, подвигая на подпись устав Регистрации, — они у меня в кабинете три дня заседали.

Генерал-лейтенант поворчал, пожал плечами и наложил резолюцию.

Это была победа, полная и безусловная. С ликованием выслушали моряки на последнем общем собрании сообщение стачечного комитета о переговорах и, избрав его почти целиком в Правление Регистрации, тем самым утвердили отчет его о работе. После этого все мы, новоиспеченные члены правления Регистрации, всенепременнейшим образом совершили ряд взлетов над лесом рук в воздух, устремляясь к небесам то ногами, то головой, то спиной, а вокруг взлетали вместе с нами всех видов и фасонов фуражки и шапки и неслось беспрерывно «ура».

Моряки прямо с собрания двинулись на места по пароходам, чтобы готовить их к отходу и отплыть, как только получится от нас извещение, что арестованные за забастовку товарищи выпущены. Это было оговорено при заключении соглашения и подтверждено генерал-губернатором. И арестованные, действительно, выходили в течение дня один за другим. Все шло, как нельзя лучше и казалось ни одно облачко не омрачит нашу победу. И все же тяжелая тень легла на нее в самый последний момент. Утром, на другой день, нас спешно вызвали снова к директору Русского Общества. Взволнованный и расстроенный, он нам сообщил, что выпущены все арестованные, в том числе и члены стачечного комитета, кроме одного — нашего пылкого, азартного армянина Боцоева.

— Но ведь это нарушение всего соглашения, — возмутились мы. — Значит, снова борьба и забастовка.

Директор пожал плечами и развел руками:

— Я сделал все что мог, я уговаривал, убеждал, но «там» уперлись, заявляя, что Боцоев задержан не в связи с забастовкой, а по партийному делу, что арест его лишь совпал с забастовкой. Карангозов заверил меня честным словом, что решение этого вопроса от него не зависит; в дело вмешан корпус жандармов, и жандармское управление категорически отказывается допустить вмешательство в дело Боцоева.

— Конечно, для вас честное слово генерал-губернатора ничего не значит, — прибавил директор, — а я вынужден с ним считаться, и больше никаких шагов предпринять не могу.

— Но пусть его выпустят, как члена стачечного комитета, и ловят потом по другому обвинению.

Директор снова развел руками:

— Я предлагал и это, но жандармский офицер, вызванный к Карангозову, только улыбнулся на мое предложение.

— Значит судовые команды будут продолжать забастовку, — заявили мы снова.

— Тут уж я остаюсь в стороне. Это будет борьба не против меня, не против Русского Общества, а против властей, арестовавших и задержавших Боцоева. Это будет политическая забастовка. И борьбу с ней будут вести уже не я, а те, против кого она будет направлена. Дирекция Русского Общества в этой новой забастовке будет скорей зритель, чем участник. Я не говорю, что это будет для нас веселое зрелище.

Наступило тяжелое молчание.

— Обсудите положение, и через час-полтора прошу сообщить мне к чему вы придете: пойдут пароходы в рейс или задержатся? — заключил директор.

Мы вышли.

— Ну, товарищи, что будем делать? Давайте обсудим, — сказал я.

Но здесь, впервые за все 42 дня тяжелой, не раз дававшей себя чувствовать круто, борьбы, мои товарищи и соратники покинули меня. Они, один за другим, заявили, что отказываются обсуждать и решать этот вопрос и не желают брать ответственности за решение:

— Но ведь кто-нибудь должен решать вопрос: команды ждут, что мы им скажем, пароходы должны или выйти в море, или оставаться в порту. Нужно решать и решать приходится нам — напирал я на них.

Угрюмо замолкли в ответ, отвернувшись и упершись глазами в землю, и высокий, тонкий Александр, и сухой худощавый кочегар Яша Вехов, и широкоплечий приземистый бородач полуматрос-полугрузчик, и все остальные.

— Ну, что же, — с горечью сказал я, — приходится видно валить всю тяжесть на одну спину. Я решу этот вопрос и возьму один всю ответственность за него.

И обрадованно и поспешно, точно с груди у них тяжелый камень свалился, все вдруг заторопились вокруг меня.

— Товарищ Карл, это правильно. Вы один должны решить дело в ту или другую сторону. Вам верят моряки, как ни одному человеку не верили. Какое бы вы решение не дали и какой бы результат не получился, вы останетесь чисты в глазах моряков и в наших глазах. Скажете: итти в рейс — пойдут, и никогда вы не услышите упрека, что Боцоев остался в тюрьме, скажете — сойти обратно с пароходов на берег и бастовать — сойдут и, если будем разбиты, вас никто не обвинит. У нас положение другое, и нам не избежать тяжелых обвинений

в одном случае и в другом. Эта ответственность не по нашим плечам.

Так стал вопрос в последнюю минуту: не сходя почти с места я должен был решить: продолжать забастовку или кончать. Ибо не выйди в рейс до полудня первый из числа уже стоявших под парами пароходов, значит — забастовка продолжена и команда сходит на берег, а выход его в море значит — забастовка окончательно ликвидирована.

Чтобы принять решение я задал своим товарищам только один вопрос, как думают они, долго ли продержатся команды, если продолжать забастовку.

— Люди устали. Еще неделю или 10 дней протянут, если не будет репрессий, а потом начнут крошиться, — был единодушный ответ.

Какие данные были у меня для принятия решения?

1) Мне, да и не одному мне в стачечном комитете, было известно, что Боцоев во время забастовки продолжал принимать участие в эс-еровской организации, подобно тому, как я или Александр в то же время были связаны с комитетом РСДРП. Поэтому арест Боцоева действительно мог быть в связи с партийными, а не с забастовочными делами. Несколько имен, упомянутых мимоходом директором со слов Карангозова и мне хорошо известных, говорили за то, что в этом случае дело именно так и обстоит.

2) Продолжение забастовки равнялось полному провалу ее, так как после полутора месяца стачки вообще очень трудно было держаться дальше, а здесь немедленно нужно было ждать репрессий: массовых арестов, высылок, дезорганизации финансовой помощи и т. д. Несомненно, что моряки ответили бы террором, и несомненно, что с другой стороны репрессии перешли бы в террор. В

результате — крах неизбежный. В этом крахе погибли бы достигнутые результаты, — Регистрация и связанные с нею перспективы дальнейшего движения моряков во всероссийском масштабе.

3) Этот крах явился бы результатом выступления, которое по сути дела было бы забастовкой протеста против ареста члена партийной организации, при чем возобновляющая забастовку масса думала бы, что она борется за освобождение только члена стачечного комитета, пострадавшего за забастовку, т.-е. все было бы построено на заблуждении, которое молчаливым соучастием нашим превращалось в обман.

Конечно, во всех этих соображениях был известный процент риска сделать ошибку. Но нам не дано было тогда так свободно заглядывать в дела жандармских управлений, как теперь в архивы Истпарта, всеведением же и безошибочностью обладает, как говорят, один только бог. Поэтому на риск ошибки той или другой приходилось итти. Я решил лучше рискнуть одним человеком, чем подвести под опасность уничтожающего разгрома четырехтысячный пролетарский отряд, только что одержавший на своем поле битвы полную, блестящую, мужество вливающую в другие отряды, победу.

Но, так решивши вопрос для себя, я потребовал, чтобы сообщение о задержке Боцоева было сделано непосредственно властями бастующим морякам. Генерал-губернатор прислал своего ад'ютанта, который от его имени, об'схав готовые к отходу пароходы, перед лицом их команд на палубе дал об'яснения о причинах невыпуска арестованного во время забастовки товарища.

Сумрачно слушали команды это сообщение и неизбежно в ответ чей-нибудь голос произносил:

— В чем Боцоева теперь обвиняют — мы не знаем, а что он наш выборный, чтобы вести забастовку, это мы знаем.

На это штабс-капитан холодно отвечал:

— Спорить с вами я не уполномочен. Мое дело вам сообщить то, что мне поручено, а ваше дело поступить, как найдете лучше.

После этого он сходил с парохода, садился на извозчика и ехал на следующий пароход. Меня же обступала команда в полном смущении:

— Что же делать? Что решил забастовочный комитет? — лихорадочно задавались вопросы.

Я отвечал, что комитет отказался даже обсуждать этот вопрос, предложив решать его самим командам.

— Если комитет отказался, так как же мы его решать будем! Чем будем руководиться? В этом деле мы, как в потемках. Страшно товарищи выдать и боязно в ловушку попасть и выигранное дело окончательно погубить, — с глубоким волнением отвечали моряки и добавляли:

— Мы на вас слагаемся, товарищ. Вы за нас думали полтора месяца, подумайте в последний раз и решите. Как вы скажете, так мы и сделаем.

И, вздохнув, давал я последний толчок этому последнему камню на нашей дороге:

— Товарищи, я уже двадцать раз думал и передумал. И мое последнее слово такое: я считаю, что нужно итти в рейс и кончить забастовку.

— Ну, как сказано, так тому и быть, отзывалась в один голос команда, снимаемся в рейс... Жалко Боцоева, да видно без жертв ни одно дело не обходится. Спешите же, товарищ Карл, на соседний, а то там этот белый китель с погонами забьет паморки нашим и они не будут знать, что им делать, а придет время, рассчитаемся и за Боцоева.

Команда расходилась по местам, а я спешил к следующему пароходу за карангозовским ад'ютантом, где повторялась та же сцена, что и на предыдущем.

Так ворвалась, в последнюю минуту борьбы моряков, в радость победы горестная нота, ворвалась, отозвалась болью в сердцах и тотчас же покрылась ликованием тысяч людей, руки которых изголодались по труду, а грудь по ветрам морского простора, тысяч возвращавшихся к труду и к морю, с поднятой головой и с торжествующим блеском в глазах...

Вышли в море один за другим в рейс пароходы, а на берегу, как крепость, прикрывающая тыл армии, осталась в бою добытая и закрепленная «Регистрация судовых команд Черноморского торгового флота».

Так шла и закончилась летом 1906 года забастовка судовых команд на Черном море.

———

— В чем Боцоева теперь обвиняют — мы не знаем, а что он наш выборный, чтобы вести забастовку, это мы знаем.

На это штабс-капитан холодно отвечал:

— Спорить с вами я не уполномочен. Мое дело вам сообщить то, что мне поручено, а ваше дело поступить, как найдете лучше.

После этого он сходил с парохода, садился на извозчика и ехал на следующий пароход. Меня же обступала команда в полном смущении:

— Что же делать? Что решил забастовочный комитет? — лихорадочно задавались вопросы.

Я отвечал, что комитет отказался даже обсуждать этот вопрос, предложив решать его самим командам.

— Если комитет отказался, так как же мы его решать будем! Чем будем руководиться? В этом деле мы, как в потемках. Страшно товарищи выдать и боязно в ловушку попасть и выигранное дело окончательно погубить, — с глубоким волнением отвечали моряки и добавляли:

— Мы на вас слагаемся, товарищ. Вы за нас думали полтора месяца, подумайте в последний раз и решите. Как вы скажете, так мы и сделаем.

И, вздохнув, давал я последний толчок этому последнему камню на нашей дороге:

— Товарищи, я уже двадцать раз думал и передумал. И мое последнее слово такое: я считаю, что нужно итти в рейс и кончить забастовку.

— Ну, как сказано, так тому и быть, отзывалась в один голос команда, снимаемся в рейс... Жалко Боцоева, да видно без жертв ни одно дело не обходится. Спешите же, товарищ Карл, на соседний, а то там этот белый китель с погонами забьет паморки нашим и они не будут знать, что им делать, а придет время, рассчитаемся и за Боцоева.

Команда расходилась по местам, а я спешил к следующему пароходу за карангозовским ад'ютантом, где повторялась та же сцена, что и на предыдущем.

Так ворвалась, в последнюю минуту борьбы моряков, в радость победы горестная нота, ворвалась, отозвалась болью в сердцах и тотчас же покрылась ликованием тысяч людей, руки которых изголодались по труду, а грудь по ветрам морского простора, тысяч возвращавшихся к труду и к морю, с поднятой головой и с торжествующим блеском в глазах...

Вышли в море один за другим в рейс пароходы, а на берегу, как крепость, прикрывающая тыл армии, осталась в бою добытая и закрепленная «Регистрация судовых команд Черноморского торгового флота».

Так шла и закончилась летом 1906 года забастовка судовых команд на Черном море.

———